

3.2.2. Эволюция немецких образов в произведениях И. С. Тургенева в контексте русского национального мифотворчества

Елизавета Фомина

О немцах я более хорошего, нежели дурного мнения, но вместе с тем не могу не признать за ними один (и весьма крупный) недостаток — их слишком много.

Вольтер

Немцы как объект русского национального мифотворчества

В том многонациональном мире, который представлен в творчестве И. С. Тургенева, изображению немцев уделено исключительное внимание. Однако, в отличие от Вольтера, считавшего главным недостатком немцев их количество и иронически умолчавшего о других воображаемых «недостатках» этого народа, Тургенев о них не умалчивал, сохраняя, впрочем, амбивалентность оценок. В первую половину литературной деятельности писателя образы немцев появляются более чем в двадцати его произведениях¹. Позднее их количество несколь-

¹ Мы выделяем два периода в трактовке немецкой темы — до романа «Дворянское гнездо» и после. С 1844 по 1859 гг. персонажи-немцы или же немцы как объект рефлексии автора / героев возникают в рассказах «Андрей Колосов» (1844), «Хорь и Калиныч» (1847), «Бурмистр» (1847), «Контора» (1847), «Жид» (1847), «Малиновая вода» (1848), «Лебедянь» (1848), «Смерть» (1848), «Петушков» (1848), «Гамлет Щигровского уезда» (1849), «Чертопханов и Недопюскин» (1849), «Певцы» (1850), «Два приятеля» (1854), «Яков Пасынков» (1855); незавершенных рассказах «Реформатор и русский немец» (1847), «Русский немец» (1847); пьесах «Безденежье» (1845), «Нахлебник» (1848), «Холос-

ко снижается, но на фоне остальных инонациональных тургеневских героев за немцами по-прежнему остается численное превосходство². Вместе с тем, немцы — пусть и «слишком большая», но все-таки — часть того многонационального пространства, в котором действуют русские герои Тургенева.

Уже простое читательское обращение к текстам писателя убеждает, что этническая принадлежность была для него одним из ключевых средств характеристики его героев. Помимо русских и немцев, он изображает всевозможные этнические типы — французов, поляков, итальянцев, евреев, англичан и т. д., причем указание на их национальность, как правило, предшествует всем остальным характеристикам, а в случае с фоновыми персонажами — эти характеристики заменяет. Почему Тургенев придавал такое большое значение именно национальной идентичности? И каковы причины столь пристального внимания к немцам? Ответы на эти вопросы невозможны без понимания той огромной роли, которую играли национальные вопросы в XIX веке, а также без знания современных Тургеневу трактовок категории «нация» и связанных с ней концептов. Говоря о развитии национальной идеологии в России, мы будем опираться на труды А. Зорина, О. Майоровой, А. Миллера, К. Рогова и других исследователей [Зорин 2001; Майорова 2008; Миллер 2007; Миллер 2012; Maiorova 2010; Majorova 2006; Rogov 1998].

Как известно, «нация» — достаточно поздняя категория, возникшая в культуре во второй половине XVIII в., в первую очередь, в трудах И. Гердера, а затем подхваченная деятелями

тяк» (1849), «Месяц в деревне» (1850), «Провинциалка» (1851); повестях «Бретер» (1847), «Дневник лишнего человека» (1850), «Затишье» (1854), «Постоялый двор» (1855), «Переписка» (1856), «Фауст» (1856), «Ася» (1858); романах «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859).

² С 1859 по 1883 г. немцы изображаются в рассказах «Призраки» (1864), «История лейтенанта Ергунова» (1868), «Стук.. Стук.. Стук!..» (1871), «Отчаянный» (1882); повестях «Несчастливая» (1869), «Вешние воды» (1872), «Клара Милич» (1883) и романах «Накануне» (1859), «Отцы и дети» (1861), «Дым» (1867), «Новь» (1877).

европейского романтизма (в основном, немецкими романтиками), которые развили эти идеи, в том числе, в художественном творчестве. В XIX веке, в ходе борьбы за национальную независимость народов, за создание национальных государств, на фоне кризиса империй, национальные проблемы ставились весьма остро — как политические, социальные. Отстраненный взгляд на нацию и национализм стал возможен лишь в XX в., в постколониальную эпоху, когда потребовалось осмыслить огромные сдвиги в мировой политике и культуре. Один из основоположников современной теории национализма, Б. Андерсон, определял нацию как воображаемое политическое сообщество, обладающее в глазах его участников глубокой эмоциональной достоверностью. Национализм ученый рассматривал не как агрессивную по отношению к другим группам идеологию, но, прежде всего, как веру в собственную принадлежность к некоторой общности, аналог «родства» и «религии» [Андерсон: 29–32]. Такой ракурс позволил Андерсону дистанцироваться от пейоративных значений слова. Разумеется, в дальнейшем мы также будем употреблять этот термин безоценочно.

Понимание нации в XIX в. коренным образом отличалось от современной концепции «воображаемых сообществ». «Подлинность» и древность наций ни у кого не вызывали сомнений. Как показал А. И. Миллер, в России слово «нация» и близкое ему по значению «народность» могли использоваться в двух значениях. Во-первых, для обозначения сообщества, обладающего неким абстрактным набором «исконных» качеств, во-вторых — как политическая общность, претендующая на создание собственного государства. Если в первом случае речь шла, скорее, об этносе, то второе значение было приближено к современной трактовке нации [Миллер 2012]. Отделить их друг от друга вряд ли возможно, поскольку даже нация в политическом смысле понималась как сообщество, обладающее уникальным набором свойств — «национальным характером», который определяет все ее существование. Но для ясности изложения далее мы их искусственно разграничим. Первую трактовку мы обозначим как «романтическую

концепцию нации», во втором случае речь пойдет о нации «политической».

По наблюдениям О. Майоровой, «политический» национализм распространился в России лишь после Крымской войны [Maiofova 2010]. В первые же десятилетия XIX в. преобладало «романтическое» понимание нации [Миллер 2012]. Интерес к национальному проявлялся тогда прежде всего как этнографическое (в широком смысле)³ любопытство к собственному прошлому, к самим себе и другим народам.

Начало подобного интереса было положено в эпоху Наполеоновских войн. Сразу же после их окончания выходит книга Ж. де Сталь «О Германии» [Stael-Holstein 1813], в которой писательница утверждала ценность наций и их право на духовную и политическую независимость. Именно эта книга, по предположению исследователей, привлекла внимание Пушкина, прочитавшего ее в полном виде, к проблеме народности [Вольперт, Томашевский]. Заинтересовала она и других русских писателей и публицистов. Английское издание сразу же вызвало оживленную реакцию в русском обществе: с 1814 и до середины 1820-х гг. в журналах публикуются переводы отрывков из него, критические оценки и полемические выступления.

Однако сама концепция «национального характера», который формируют язык, фольклор, национальные предания, а также климат и природные условия, закрепляется в России скорее в 1820-е – 30-е гг. Ключевую роль в этом сыграла ранняя рецепция немецкой литературы и философии еще в 1810-е гг. (например, «карамзинистом» Уваровым), а затем изучение трудов немецких философов в «Обществе Любомудрия». Благодаря растущему интересу к немецкой философии уже к 30-м гг. романтическая концепция нации распространяется от студенческих кружков до высших кругов власти.

³ Этнография в XIX в., в той или иной мере также была «воображаемой», т. е. народам зачастую приписывались качества, исходя из уже сложившихся представлений о «свойственном» им характере.

Благодаря поддержке правительства и теории официальной народности, эта концепция окончательно закрепились в русской культуре. Как показал в своей книге А. Зорин, автор знаменитой триады «православие — самодержавие — народность» С. С. Уваров опирался на немецкие источники. Интересно, что в этом его поддержал сам император, который, конечно же, руководствовался не германофильством, а вполне прагматическими соображениями. Уваров концептуализировал народность с точки зрения «исторических эмоций и национальной психологии». Он подчеркивал, что Россия «еще хранит в своей груди убеждения религиозные, убеждения политические, убеждения нравственные — единственный залог ее блаженства, останки своей народности, драгоценные и последние гарантии своей политической будущности» [Зорин: 365]. Подобный уход в сферу «исторических эмоций» на фоне недавнего восстания декабристов и польских событий был для Николая одним из средств для поддержания лояльности царю и империи со стороны населения.

Вскоре после того, как Уваров занял пост министра народного просвещения, в русских университетах были открыты кафедры русской истории и истории российской словесности. По мнению А. Миллера, это означало, что теперь идеи романтического национализма должны были транслировать в общество профессионалы, задача которых состояла в преподавании русской литературы и истории в национальном ключе [Миллер 2007]. Эти изменения были восприняты в русском обществе как сигнал к публичному обсуждению проблемы народности, таким образом, именно тогда возникают предпосылки для формирования русского националистического дискурса. В середине 1830-х гг. в русских журналах появляются статьи на эту тему, ведутся дискуссии. Одна из наиболее обсуждаемых тем — народность в литературе, начатая еще в 1790–1800-е гг. (см. об этом [Киселева 1982]) и поднятая на новый уровень в результате активного усвоения творчества зарубежных писателей.

Однако любые попытки выйти за рамки отвлеченных размышлений о национальном характере и перенести националь-

ную проблематику из области искусства на современные социальные и политические проблемы жестко пресекались. Обсуждение народности было приемлемо до тех пор, пока оно не угрожало целостности империи и авторитету властей. Знаменитая история с публикацией Первого философического письма Чаадаева в «Телескопе» показывает, что и сам автор, и его издатель Надеждин заблуждались относительно рамок дозволенного в разговоре о национальных вопросах. Отчасти это произошло из-за политики Уварова, отчасти из-за двойственного отношения Николая к проблеме народности [Миллер 2007]. Как известно, в результате, Чаадаев, выступивший с резкой критикой русского характера, а, в конечном итоге, — с обличением тех условий, в которых он формировался, был объявлен сумасшедшим, а Надеждин отправлен в ссылку.

Правительство опасалось, что перенос национальных идей на современные общественные проблемы может привести к росту сепаратизма и даже к революции. Но сохранение лишь этнографического интереса к собственному прошлому и пресечение любых проекций на современность, в полной мере, были невозможны после польского восстания 1830–31 гг. Негативная реакция Европы на это событие вызвала в русском обществе мощную волну патриотизма — таким образом, национальные проблемы неизбежно из отвлеченно-философских становились насущными и злободневными. Доступные русскому читателю высказывания в европейской прессе о России зачастую воспринимались как оскорбительное непонимание и ненависть к русской культуре и русскому характеру. Об этом вскоре после подавления польского восстания писал Пушкин в своем стихотворном послании «Клеветникам России»:

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас... [Пушкин: III. 209]

Кульминацией стихотворения становится образ могучей русской нации. Пушкин как бы охватывает всю территорию империи и превращает ее в национальную собственность русских:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет **русская земля?**.. [Пушкин: III. 210]

Подобное воображение национальной географии — характерный прием русской патриотической риторики, ставший особенно популярным во второй половине XIX в., когда вопрос о сохранении целостности империи встал особенно остро. В 1830-е же Пушкин воспользовался им, прежде всего, в полемических целях. Это скорее эмоциональный ответ на несправедливые, с его точки зрения, обвинения, чем сознательное конструирование образа единой русской нации во избежание распада империи.

Главным образом, эмоциями руководствовались и русские читатели сочинения маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», в котором автор дал достаточно неприглядный образ России, подчеркнув варварство русских и отсутствие у них самобытности из-за стремления подражать европейским обычаям [Кюстин 1996]. Книга вызвала широкий общественный резонанс и волну негодования против ее автора. Для дискредитации Кюстина в ход шли самые разные аргументы (правда, высказывались они, в основном, в частной переписке), вплоть до упоминаний сомнительных подробностей его личной жизни и нетрадиционной сексуальной ориентации [Мильчина, Осповат 1994].

Помимо книги Кюстина в это время в европейской прессе публикуются многочисленные статьи антирусской направленности, прежде всего, в «Allgemeine Zeitung» [Осповат: 228–229] — наиболее влиятельной немецкой газете либерального направления, из которой черпали сведения другие, в том числе, французские издания. Несмотря на ее официальный запрет

в России, русские патриоты, в частности, Ф. И. Тютчев, руководствуясь все тем же желанием опровергнуть «клевету», пытались противостоять на ее страницах нелицеприятным отзывам о России [Тютчев 1999].

На фоне уязвленной национальной гордости и патриотического подъема 30-х гг. в последующее десятилетие возникает славянофильское движение, участники которого, опираясь, с одной стороны, на романтические идеи о национальном характере, а с другой — на труды христианских мыслителей, впервые в России сформулировали националистическую идеологию. А. Миллер писал, что именно на 1840-е гг. пришелся расцвет романтической концепции нации [Миллер 2012]. Действительно, славянофилов даже называли немцами, поскольку немецкие источники их национализма были для современников очевидны [Rogov: 553]. Славянофилы считали, что возвращение к собственным национальным истокам является важнейшей и всеобщей задачей, поскольку только глубокое понимание своих корней позволит России полноценно развиваться и быть независимой от иноземных культурных воздействий. Подобно другим великим нациям, внесшим вклад в мировую историю, став самостоятельной, она должна воплотить некую важную историческую задачу, которую так же, как и национальный характер, еще предстоит открыть.

Однако славянофильство коренным образом отличалось от чисто этнографического интереса к русской и другим народностям в 1820-е гг., его также нельзя свести к патриотическим настроениям, распространившимся в 1830-х гг. Теперь абстрактные размышления о мистическом национальном характере сплавлялись с конкретными политическими и социальными проблемами.

Идея о будущем величии России подспудно предполагала, что настоящая ситуация неудовлетворительна. И это не могло не вызывать недовольства Николая I, которого, несомненно, больше бы устроил вердикт Бенкендорфа о том, что прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее выше всяких представлений. Более того, славянофилы, фактически, предлагали альтернативный официальному путь для достиже-

ния будущего национального величия. Главным образом, он был связан с идеей крестьянской общины, причем, речь шла не просто об освобождении крестьян, но о новом типе управления, принципиально отличающемся от существующего. Реализации оригинального типа правления, с точки зрения славянофилов, помешала предпринятая Петром европеизация России, и выбор именно петровской эпохи как точки отсчета, начиная с которой национальный характер был предан забвению, знаменателен. Славянофилы, в отличие от своих предшественников, уже не воспринимали сосуществование нации и империи как бесконфликтное, и именно поэтому основным объектом их рефлексии и критики была петровская эпоха — время, когда возникает империя. Роль петровских реформ для последующей русской истории была одним из ключевых пунктов в развернувшейся тогда полемике между славянофилами и западниками, считавшими петровские преобразования благотворными для России. В этом отношении либерально настроенные сторонники европеизации России были гораздо лояльнее империи по сравнению со своими оппонентами славянофилами.

В первом рассказе «Записок охотника» «Хорь и Калиныч» Тургенев, находясь в контексте этой полемики, утверждал, что

Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно, того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов [Тургенев: III, 16].

Тургенев здесь, наперекор славянофилам, утверждает, что национальное прошлое мало интересует русского крестьянина, но гораздо любопытнее, что писателю понадобилось доказывать «русскость» Петра на фоне противопоставления русских и немцев.

Начиная с 1840-х гг. тема нерусского, главным образом, немецкого характера русской власти получает все большее распространение, и, по всей видимости, Тургенев в своем рассказе намекал именно на нее. Проблема «онемеченной» власти отчасти подразумевается уже в высказываниях славянофилов, утверждавших, что петровские реформы исказили русскую национальную суть. Но славянофилы все же не имели возможности говорить открыто о современности. Эти идеи применительно к Николаевской администрации были развиты в эмиграции — прежде всего, в революционной публицистике Бакунина, а затем в статьях Герцена. В публицистике Бакунина 1840-х гг. последовательно проводится мысль о том, что империя чужда русскому национальному духу. Она соответствует характеру своих авторов — немцев; немцем он называет и Николая [Бакунин 1920: 42, 56]. Конечно, Бакунина интересовали, прежде всего, революционные идеи. Все рассуждения об особенностях славянского характера народов и немецкой ментальности монархов были направлены на эти цели. Как выдающийся оратор и демагог (в первичном смысле слова), он понимал, что сами по себе эти идеи могут не вызвать столь широкого отклика, поэтому понадобилось придать им националистический колорит. «Чувство, преобладающее в славянах, есть ненависть к немцам, — писал он позднее в своей «Исповеди» Александру II, — энергическое, хоть и неучтивое выражение «проклятый немец», выговариваемое на всех славянских наречиях почти одинаковым образом, производит на каждого славянина невероятное действие; я несколько раз пробовал его силу и видел, как оно побеждало самих поляков» [Бакунин 1921: 75]. Но, думается, что помимо этого Бакунин хорошо осознавал глубокое противоречие между национальным принципом и империей. Национальные идеи в его выступлениях слишком тесно сплелись с революционными (об этой особенности национализма «вплавляться» во всевозможные идеи и убеждения писал Андерсон), поэтому, очевидно, понятие «нация» обладало для него уже не романтическим, а политическим смыслом.

Национальный проект Бакунина — федерация, состоящая из славянских государств, — был, конечно, слишком радикальным в условиях николаевского царствования. Но даже публичное обсуждение более традиционных концепций национального государства было тогда проблематичным (ср. подозрительное отношение властей к славянофилам). Это стало возможным позднее, в 1860-е — 1870-е гг. Именно тогда, — после неудач Крымской войны, которые сильно ранили национальную гордость русских, после реформ, сделавших возможным открытое обсуждение в прессе общественных проблем, после крестьянской реформы, вызвавшей чувство всеобщей гордости за свою страну — этот шаг был воспринят как завершение ученичества у европейских стран и обретение духовной самостоятельности, — национальные проблемы начинают широко обсуждаться, формируется мощный националистический дискурс. Его лейтмотивом становится необходимость преобразования империи в национальное государство. Заключительным аргументом в пользу такой трансформации послужило польское восстание 1863 г., воспринятое как угроза имперской целостности и ставшее мощным катализатором национальных фобий.

Главный страх — распад многонациональной империи — подталкивал публицистов, прежде всего, поздних славянофилов и ультраконсервативных патриотов во главе с М. Н. Катковым, к созданию новых концепций нации, поскольку традиционная триада «православие, самодержавие, народность» уже не отвечала запросам эпохи. Задача заключалась в том, чтобы преобразовать полиэтничное и многоконфессиональное население в единое и сплоченное сообщество, поскольку, в противном случае, по мнению русских патриотов, империи угрожал распад. М. Н. Катков считал, что полиэтничность Российской империи не мешает формированию единого национального государства. Он разрабатывает в это время концепцию «политической нации», основанной на языковой общности. Отсюда — требования (главным образом, лингвистической) русификации имперских окраин, поскольку Катков считал, что народ, не говорящий на государственном языке, представляет

собой «государство в государстве», способное в любой момент отделиться [Маюгова: 93].

После польского восстания 1863 г. русские националисты испытывали сильные опасения, что польский сценарий может повториться с другими народами, населяющими империю. Наиболее опасным, с этой точки зрения, представлялся Остзейский край. По логике Каткова, балтийские немцы в силу своей языковой принадлежности оказывались ближе к германской «политической нации», чем к русской [Там же]. В ходе консолидационных процессов в Германии эта проблема приобретает все большую остроту. В русском националистическом дискурсе 1860-х – 70-х гг. все чаще звучат опасения, что Германия, по аналогии с мятежной Польшей, обратившейся за помощью к Франции, может оказать протекцию остзейцам. Несмотря на то, что эти страхи не имели достаточных оснований — Бисмарк не собирался оказывать помощи остзейским сепаратистам, — в публицистике того времени все чаще говорится о неизбежно надвигающейся войне между Германией и Россией за Балтийские губернии [Там же: 94–97]. Таким образом, наряду с самыми острыми и обсуждаемыми социальными и политическими проблемами эпохи, встает «немецкий вопрос» — представление об ужасной опасности, угрожающей самому существованию России.

Возникновение «немецкого вопроса», столь остро переживавшегося российским обществом во второй половине XIX в., было подготовлено предшествующими этапами развития русского национализма, и рецепция немецкой романтической литературы и философии на его раннем этапе сыграла в этом решающую роль. Однако корни этой проблемы намного глубже: они уходят в петровскую эпоху, когда в ходе Северной войны к России были присоединены прибалтийские земли вместе с проживавшими там остзейскими немцами и когда в русских городах, главным образом, Петербурге и Москве, появились переселенцы из немецких государств⁴. Петр поощ-

⁴ Немецкие переселенцы появились в России еще при Василии III, когда в Москве возникла первая Немецкая слобода. Однако сели-

рял приезд европейских иммигрантов с целью преобразования государственной системы и общественного устройства по европейскому образцу. Затем цивилизаторская линия Петра была продолжена Екатериной Великой, благодаря иммиграционной политике которой произошло массовое переселение в Россию иноземцев, прежде всего, немцев. Реакция общества на переселенцев была достаточно нейтральной, однако уже тогда возникает тема «немецкого засилья». Правда, она не была националистически окрашенной и касалась, не только немцев, но и других иностранцев, стоявших у власти [Оболенская 2000: 12].

К началу XIX в., в результате наполеоновских войн и распространившейся в русском обществе борьбы с галломанией, растет доброжелательность по отношению к немцам и немецкой культуре. Представления о близости и даже «родственности» русской и немецкой культур активно поддерживались «немцами-русофилами» — Борном, Востоковым, ранним Кюхельбекером, позднее, бароном Розеном [Rogov: 602]. К. Ю. Рогов описывал процесс перехода от германофилии начала XIX в. к распространившемуся в 1830-е – 40-е гг. противопоставлению русского немецкому как смену ключевых для русской культуры оппозиций: «Север — Юг» — «Запад — Восток» [Там же: 556–562]. В первые десятилетия XIX в., под влиянием идей Гердера и де Сталь, представление о собственной оригинальности в значительной мере было связано с открытием «севера» как особой исторической, культурной и эстетической реальности. Причисление русской культуры к «северному типу», с одной стороны, позволяло утверждать ее оригинальность по отношению к южному (романскому) миру, главным образом, Франции, с другой — вводило Россию в круг других «северных» народов — прежде всего, немцев. К сере-

лись там не только уроженцы немецких княжеств, но и другие иноземцы. Сам этноним «немец» в просторечной практике того времени обозначал иностранца вообще, поэтому, говоря об истоках русского националистического нарратива, мы не берем в расчет европейских эмигрантов XVI в.

дине XIX. в., по мере развития национальной идеологии, такая точка зрения становится все менее приемлемой, и в культурном сознании укрепляется дихотомия «Восток — Запад».

Однако противодействие германофильству возникает в русской среде еще в 1820-е гг. В это время немец становится привычным героем произведений массовой литературы. Исследователи [Жуковская, Мазур, Песков 1998] считали возникновение «типажных» немцев одним из следствий «коммодификации» литературы — с этого времени литературный труд начинает регулярно оплачиваться, складывается понятие профессионального писателя, живущего только за счет своих публикаций. В результате увеличивается число массовых беллетристов, пишущих для платежеспособного, но неискушенного читателя и учитывающих его невысокие эстетические запросы. Разумеется, расцвет массовой беллетристики не был изолирован от литературного процесса в целом, поэтому «типажные» немцы появляются и у писателей «первого ряда» — Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Авторы статьи отмечали, что, несмотря на различные модификации этого образа, он неизменно изображался с иронией, источником которой служило представление о немецкой «умозрительности», т. е. уходе от реальности в мир вымысла и фантазии (напр., типы немецкого мечтателя и художника) или же в идиллию семейной жизни и бытового гедонизм — курение табака, распитие пива в теплой компании, окружение себя атрибутами, создающими уют и комфорт и проч. (ср. типаж «доброего немца» — доброго не в плане этических качеств, а в смысле добропорядочности, приверженности ежедневному распорядку и т. д.).

По мнению Р.-Д. Кайля, причины этой иронии заключались в противоречии между книжными представлениями о немцах и бытовыми впечатлениями от повседневных контактов с представителями этой национальности. В своей статье о гоголевских немцах автор приходит к выводу, что именно этот конфликт между увлечением раннего Гоголя немецкими романтиками и его столкновением с петербургской действительностью и проживавшими там немцами, далекими от героев Шиллера и Гофмана, породил ироническое отношение писате-

ля к своим немецким героям [Keil 1998]. Однако думается, что несоответствие между представлениями и реальностью применительно к ситуации почти 200-летней давности довольно сложно установить. Мы не беремся судить, действительно ли реально существовавшие русские немцы настолько разочаровали Гоголя, что это побудило его изобразить их в ироническом ключе. С нашей точки зрения, иронию Гоголя и других авторов по отношению к немцам можно объяснить ответной реакцией на германофильство — распространение немецких философских идей, увлечение немецкой литературой, и (в случае Гоголя) попыткой переосмыслить и преодолеть свои ранние интеллектуальные пристрастия.

По мере развития националистической идеологии оценка немцев в русском культурном сознании трансформируется. В 1840-е гг., наряду с романтической, порой ироничной, трактовкой этого образа, появляются резко негативные персонажи — своеобразный отклик на проблему немцев у власти. В действительности многие руководящие должности занимали остзейские немцы, что вызывало недовольство русских националистов. С точки зрения славянофилов, остзейские немцы, стоявшие у власти, препятствовали окончательному сближению между царем и народом [Маюрова: 89]. Ю. Самарин, проживший в Риге около двух лет и уже в то время требовавший русификации Балтийского края, возвратился оттуда с уверенностью в том, что немцы глубоко враждебны по отношению к русским. В своих «Письмах из Риги» (1849), за которые он после возвращения был на короткий срок заточен в Петропавловскую крепость, Самарин воспроизводит «задушевную мысль» остзейцев: «мы будем иметь дело исключительно с правительством, но не хотим иметь дела с Россиюю, и если нас вздумают в том упрекать, мы зажем рот обвинителю этими словами: мы верноподданные государя, мы служим ему не хуже вас, больше вы ничего от нас требовать не вправе» [Самарин: 42].

Таким образом, немцам приписываются лояльность правительству, готовность соблюдать имперские законы и верно служить царю, но при этом утверждается их полное равноду-

шие и даже высокомерие по отношению к русскому характеру. И. С. Тургенев, не разделявший славянофильской доктрины в целом, в этом частном аспекте подхватывает идеи Ю. Самарина и И. Аксакова. В том же 1849 г. публикуются рассказ «Чертопханов и Недопюскин», а затем пьеса «Холостяк», в которых немцы представлены крайне негативно. Петербургский немец Ростислав Адамович Штоппель в рассказе «Чертопханов и Недопюскин» изображается в числе наследников, собравшихся делить имущество после смерти разбогатевшего откупщика. Выражаясь «нестерпимо чистым, бойким и правильным русским языком», он в присутствии собравшихся издевается над робким и безответным Недопюскиным, служившим у умершего помещика шутом. Обидчика быстро ставит на место вступившийся за Недопюскина Чертопханов. В сцене их конфронтации с немцем подчеркивается уважение Штоппеля к чинам и полное презрение к человеку — вариация тех качеств, которые приписывали немцам славянофилы:

Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. — Как вам не стыдно мучить бедного человека! Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. <...> Г-н Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает): — Кто это? — Чертопханов, не важная птица, — отвечал ему тот на ухо. Ростислав Адамыч принял надменный вид. — А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза. — Вы что за птица, позвольте спросить? Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье. — Дз-дз-дз-дз, — зашипел он, словно удушенный, и вдруг загремел: — кто я? кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапрашур царю служил, а ты кто? Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора. — Я птица, я, я птица... О, о, о!.. [Тургенев: III. 284–285].

В пьесе «Холостяк» немецкий герой барон Родион Карлович фон Фонк, имеющий чин титулярного советника, не только «как многие обруселые немцы, слишком чисто и правильно выговаривает каждое слово», но и претендует на русскую идентичность:

...я, хотя почитаю себя совершенно русским человеком и русский язык признаю, так сказать, за свой родной язык, всё же я, подобно Алкивиаду Мартынычу, не русского происхождения и, следовательно, не имею, так сказать, голоса...

Вилицкий. О, помилуйте! Да вы, напротив, вы превосходно владеете русским языком; я даже всегда удивляюсь чистоте, изяществу вашего слога... помилуйте...

Фонк (скромно улыбаясь). Может быть... может быть... [Тургенев: II. 203–204]

При этом подчеркивается его высокомерное отношение к русскому семейству старика Мошкина. Он отговаривает своего приятеля, слабохарактерного Вилицкого, от женитьбы на воспитаннице Мошкина — простоватой, но естественной и добросердечной девушке Маше, предпочитая их невзыскательному дому общество немецких высокопоставленных особ:

Фонк. <...> А скажите, пожалуйста, вашу невесту, кажется, Марьей... Марьей Васильевной зовут?

Вилицкий. Марьей Васильевной.

Фонк. А фамилия как?

Вилицкий. Фамилия... (Глянув в сторону.) Белова... Марья Васильевна Белова.

Фонк (помолчав немного). Да. А, кстати, отправляемся мы завтра с вами к барону Видегопф?

Вилицкий. Как же... если вы хотите меня представить... [Там же: 191]

Вилицкий боится разочаровать фон Фонка и стыдится Машиной необразованности, но барон не одобряет выбора своего приятеля по другой причине: воспитанница Маша небогата и не блистает талантами, поэтому она — невыгодная партия. С его точки зрения, нужно избегать знакомства с людьми «низшего круга» и «как можно более знакомиться с людьми высшими» [Там же: 208]. Образ фон Фонка — карьериста, который во всем руководствуется рассудком, резко контрастирует с мифом о немецкой мечтательности и умозрительности, столь распространенном десятилетием ранее: в меняющемся идеологическом контексте мечтательность превращается в сухой и

холодный расчет, который противопоставляется русской «душевности».

Противопоставление «русской души» «немецкому рассудку» стало ключевым для романа Гончарова «Обломов», начатого, как известно, в 1848 г. Гончаров попытался дать в нем положительную трактовку немца, но этот замысел не вполне удался: образ Штольца вышел схематичным, симпатии большинства современников оказались на стороне Обломова. Объясняется это, очевидно, не просто антинемецкой настроенностью общества, но существованием устойчивых мифологем, которые предопределили не только восприятие романа «Обломов», но и довели над его автором в процессе его создания. Возможно, поэтому образ Штольца оказался менее убедительным по сравнению с образом главного героя. Более того, во время публикации романа Гончарова проблема «русских немцев» воспринималась гораздо острее, чем в 1840-е гг. С воцарением Александра II, в условиях подготовки крестьянской реформы, русские националисты ожидали скорого решения проблемы немцев у власти. Они надеялись, что контакт между царем и народом будет восстановлен, а препятствующая этому немецкая бюрократическая прослойка будет отодвинута на второй план, иначе говоря, — что «Петровия» наконец-то вновь станет Россией [Маюгова: 90]. Однако Александр в этом отношении проявил себя довольно сдержанно, что, в итоге, на фоне последовавших вскоре польских событий, привело к эскалации антинемецких настроений и бурному публичному обсуждению «немецкого вопроса».

Обобщая сказанное, выделим ключевые, с нашей точки зрения, тематические блоки, на которые распадалась проблема немцев и немецкого влияния в России в интересующий нас период. Во-первых, следует отметить, что безоглядное увлечение немецкой философией и творчеством немецких романтиков в русской среде в 1820–40-е гг. сопровождалось ироническим отношением к этому явлению. Стремлением преодолеть наивное преклонение перед «учителями» зачастую объясняется и ирония к немцам (например, у Гоголя). Во-вторых, восходящая еще к XVIII в. тема немцев у власти (Бирон и «би-

роновщина»), с возникновением славянофильства в 1840-е гг., переживает свой новый виток. Немцы начинают восприниматься как угроза русской идентичности, поскольку именно благодаря им, с точки зрения русских националистов, сформировались общественно-политические условия, искажившие русский национальный характер. Наконец, в-третьих, после подавления польского восстания 1863 г. немцы рассматриваются как потенциальная угроза не только для русской идентичности, но и для Российского государства. Эта мифологема становится для националистов еще более убедительной после завершения объединения Германии. Русские немцы изображаются в публицистике того времени как внутренний враг, интриги которого могут привести Россию к сокрушительной войне с новой мощной военной державой — Германией.

Разумеется, идеологический рисунок на протяжении нескольких десятилетий был значительно сложнее и богаче. Не претендуя на полный охват антинемецкого нарратива в России, мы сосредоточимся на основном предмете нашего исследования — изображении немцев в творчестве Тургенева. Сказанное выше довольно неочевидно соотносится с личностью писателя, который не был славянофилом и всегда подчеркивал свою приверженность европейским ценностям. О его европеизме красноречиво говорит его биография — годы обучения в Берлинском университете, постоянные отъезды за границу, а впоследствии переселение в Баден-Баден, где он прожил около семи лет. Тем не менее, он никогда не прерывал контактов с Россией. Та идеологическая атмосфера, в которой он сформировался как писатель, несомненно, делала его участником происходивших в России культурных процессов. Поэтому, создавая произведения о российской действительности, он так или иначе присоединялся к коллективному национальному мифотворчеству.

Имманентный анализ vs. контекстуальный подход

Практически все ученые, монографически изучавшие творчество И. С. Тургенева, в той или иной мере касались «немецкой» проблематики. Довольно подробно исследованы область литературных отношений Тургенева с немецкими авторами, роль классической немецкой литературы и идей немецких философов в формировании его поэтики. Особо следует выделить работы Л. В. Пумпянского, Г. А. Бялого, А. И. Батюто, С. Е. Шаталова, Г. Б. Курляндской, А. Б. Муратова, В. М. Марковича, Г. А. Тиме, Л. Пильд, К. Кроо, П. Тиргена и др. исследователей [Батюто 1972; Батюто 1990; Бялый 1962; Кроо 2008; Курляндская 1972; Маркович 1996; Маркович 1975; Муратов 1980; Муратов 1985; Пильд 1995; Пильд 1999; Пумпянский 2000; Тиме 1992; Тиме 1997; Тиме 1994; Шаталов 1969; Шаталов 1979; Thiergen 1982; Thiergen 1983].

Исследования тургеневской национальной характерологии и, в частности, образов немцев также достаточно многочисленны. Одной из первых работ по данной теме стала диссертация К. Wiegand “Turgenevs Einstellung zum Deutschtum” [Wiegand 1939], в которой исследовательницу, помимо отношения Тургенева к немецкой культуре и философии, интересовали немецкие образы в его творчестве. Им посвящена глава “Die Deutschen in Turgenevs Romanen”, частично касающаяся и персонажей-немцев в тургеневских повестях. Виганд ограничилась имманентным анализом текстов и пришла в своей диссертации к выводу, что образы немцев на протяжении всей литературной деятельности Тургенева остаются неизменными. Она приводит набор «типичных» черт тургеневского немца: деловитость [Geschäftstüchtigkeit], склонность к чистоте и порядку, скромность, стремление ко всему идеальному [Neigung zu allem Idealen], и перечисляет героев, воплощающих эти качества.

На методологическую недостаточность этой работы позднее указал П. Бранг в статье “Images und Mirages in Turgenevs Darstellung der Nationalcharaktere. Klischeezertrümmerung oder Trendverstärkung?” [Brang 1995]. Бранг сосредоточился на «эт-

нопсихологической» проблематике — на подлинности / стереотипности тургеневских образов и степени свободы автора от этнических клише. В этом случае нам кажется уместным сослаться на Б. Андерсона, писавшего о том, что в разговоре о нациях критерий «истинного» и «ложного» неприменим: образ той или иной нации всегда является продуктом воображения и, одновременно, предметом веры. Сама постановка проблемы — поиск «правильных» национальных образов и ложных = стереотипных, логически неверна. Но с методологическими заключениями, приведенными в начале этой статьи, не реализованными, однако, в основной ее части, мы не можем не согласиться: Бранг указывал на зависимость национальных образов от предшествующей литературной традиции, от исторических условий и художественных задач автора, от прагматики текста, его жанра и (потенциального) адресата. Наконец, он подчеркивал, что благодаря художественному сопоставлению представителей разных наций утверждается специфика собственного национального характера, т. е. инациональные типы у русских писателей служат фоном для русских героев.

Отчасти недостаточное внимание предыдущих авторов к историческим обстоятельствам, в которых создавались произведения писателя, попыталась восполнить Ж. Зельдхейи-Деак в статье «Западная Европа и русские — глазами Тургенева» [Зельдхейи-Деак 1995]. Исследовательница не только задавалась вопросом, *как* Тургенев изображает свои национальные типы, но и *почему* это происходит так, а не иначе. Ответ автор находит в идеологической позиции Тургенева, который, будучи западником, не отрицал русской специфики и критически относился к некоторым явлениям европейской жизни. Несмотря на справедливость этого объяснения, оно все же слишком лаконично и не может быть удовлетворительным.

Недостаточное внимание историческому фону уделяли и русские исследователи, изучавшие тургеневских немцев [Кантор 1996; Славгородская 1998; Чугунов 2002]. Добавим, что на раннем этапе исследования мы сами были сосредоточены на имманентном анализе текстов [Фомина 2010а; Фомина 2010б; Фомина 2011а; Фомина 2011б], что позволило нам, однако,

сделать выводы о тургеневской поэтике, без которых дальнейшее исследование было бы невозможно. Как оказалось, функция этих персонажей в текстах Тургенева определялась не столько их стереотипными характеристиками, сколько общей художественной концепцией произведения. Это — прежде всего, персонажи, на фоне которых оценивается русский герой (об оценочно-дифференцирующей функции образа Лемма см.: [Фомина 2010a]). Наиболее очевидно указанное противопоставление реализуется в персонажной схеме, где в центре оказываются парные герои — русский и «русский немец» («Бретер», «Несчастливая», «Стук..», «Клара Милич» и др.). Причем, несмотря на то, что образы немцев в названных текстах взаимосвязаны (вплоть до дублирования имен и отдельных характеристик, см. об этом [Фомина 2011b]), сходство между ними является мнимым. Анализ всей цепочки произведений «о русском и немце» еще более явно продемонстрировал, что тургеневская характеристика немцев не была стабильной. Об этом свидетельствуют приемы переадресации национальных черт и их скрещивания — «русские немцы» могут «сливаться» с русскими героями, характеристики немца из одного текста могут переходить к русскому в другом произведении, имеющем сходную персонажную структуру, и наоборот. Таким образом, закономерно возникает вопрос о том, что определяло прихотливую динамику тургеневских образов и какова была логика их внутреннего развития.

Для его разрешения необходим более широкий контекст. Представление о том, что текст — это модель мира, компактно вмещающая в себя всю необходимую для его понимания информацию, в данном случае уже не может быть достаточным методологическим обоснованием для исследователя. При изучении тургеневских немцев без учета более широкого контекста из поля зрения исследователя выпадают значимые детали — то, что позволяет говорить об этой группе персонажей не как об однородной и более или менее неизменной массе, а рассматривать их с точки зрения их эволюции. Как мы попытались показать выше, образ немца в русском культурном сознании трансформировался. Попробуем выяснить, насколько

ко эти трансформации коснулись Тургенева — действительно ли оценка немцев в его творчестве оставалась неизменной, или же эти образы менялись вслед за изменениями идеологического фона в России и развитием русского националистического нарратива.

В этом отношении представляются ценными труды, напрямую не связанные с творчеством Тургенева. Выделим работы К. Ю. Рогова, С. В. Оболенской, О. Майоровой [Rogov 1998; Оболенская 2000; 1977; Majorova]. В статье Рогова “Russische Patrioten deutscher Abstammung” на биографическом примере русофильски настроенных общественных деятелей, ученых и литераторов немецкого происхождения⁵ рассматривается динамика и логика развития национальной мифологии в России. Эта мифология активно создавалась как самими русофильствующими немцами, так и русскими литераторами, активно обсуждавшими «немцев-славянофилов». Рогов учитывает сложные корреляции общественного мнения с правительственной позицией по отношению к этой национальной группе, а также личные устремления немцев, желавших влиться в русское общество. Герои статьи — И. М. Борн, А. Х. Востоков, В. К. Кюхельбекер, барон Е. Ф. Розен, Ф. Ф. Вигель, Н. В. Берг, Н. А. Ригельман, К. К. Павлова, К. К. Зедергольм, — руководствуясь лингвистическими, эстетическими или религиозными симпатиями, идентифицировали себя с Россией. Дело не ограничивалось актом личного выбора — авторы «отстаивали» собственную «русскость» в своих публицистических и художественных текстах, в письмах к современникам и т. д. Эти биографические «казусы» неизбежно осмыслились в контексте рассуждений о национальной специфике русских, о близости / противоположности славян и немцев и об исторической роли России в Европе.

⁵ В некоторых случаях их немецкое происхождение спорно (Ф. Ф. Вигель), но речь в статье идет не о реальной биографии, а о националистическом мифотворчестве, в котором Вигель изображался как немец (см. статьи Герцена).

В трудах С. В. Оболенской, написанных в русле исторической антропологии, раскрываются изменения русского общественного мнения о немцах в ходе объединения Германии и более ранних политических процессов на материале многочисленных публицистических свидетельств. Несомненный плюс работ этого автора заключается в том, что речь идет не об абстрактном «обществе», единодушно оценивающем немцев, а о представлениях, бытующих в разных социальных слоях — от простонародья до правительственных кругов. Говоря о русской интеллигенции, Оболенская учитывает идеологическую направленность публицистов, их политические симпатии и цели. Проблема рассматривается на обширном историко-политическом фоне, включающем в себя отношения между Российской империей, Пруссией и Австрией, политику властей по отношению к остзейцам и русским немцам, а также роль обоих польских восстаний в переоценке немцев как со стороны властей, так и в среде патриотически настроенной интеллигенции.

Статья О. Майоровой “Die Schlüsselrolle der deutschen Frage in der russischen patriotischen Presse der 1860er Jahre”, не говоря уже о крайне важной для понимания происходивших в России идеологических процессов второй половины XIX в. монографии “From the shadow of empire: defining the Russian nation through cultural mythology, 1855–1870”, касается антинемецких мифов, конструируемых русской патриотической прессой в эпоху Великих реформ. С точки зрения исследовательницы, антинемецкий дискурс в это время был, с одной стороны, следствием осознания русскими патриотами глубокой необходимости модернизации империи. С другой стороны, германофобия была средством уйти от чувства вины за агрессивную политику России по отношению к полякам: в статьях этого периода русские изображаются не как угнетатели поляков и завоеватели Кавказа, но как жертва немцев.

Указанные работы объединяет идея о том, что национальное мифотворчество в XIX в. — конструирование собственного образа и образа других народов, — было многоуровневым и переменчивым процессом. По справедливому наблюдению

М. Долбилова, этно-культурные образы не являются чем-то застывшим и неизменным — они претерпевают сложную эволюцию, подчиняясь логике порождающего их дискурса [Долбилов: 130]. Именно с этой точки зрения мы будем рассматривать далее тургеневских немцев. Разумеется, также будут учитываться биографические обстоятельства и особенности его поэтики, ведь при всей исторической обусловленности образ является частью художественной реальности и подчиняется ее законам. Однако дальнейший разговор о немецких персонажах в творчестве писателя был бы невозможен без предварительного краткого очерка биографических связей Тургенева с немцами и Германией на этапе, предшествовавшем его творческой деятельности — в период, когда Тургенев находился еще на периферии тех идеологических процессов, в которые он погрузился, вступив в литературу.

Контакты Тургенева с немцами в 1820–1840-е гг.

Биографическая и культурная близость Тургенева к Германии общеизвестна. Особенно это касается его студенческой жизни в Берлине, а впоследствии — роли немецкой литературы и философии в формировании его поэтики в 1850-е гг. [Пумпянский: 427–447]. Однако знакомство писателя с немцами произошло задолго до поездки в Берлин. Первыми немцами, с которыми столкнулся Тургенев, были его гувернеры и учителя, выписанные родителями из-за границы. В 1825–1826 гг. в Спасское прибыли уроженец Швейцарии Жорж ди Паске и полонизированный немец Яков Фукс [Тургенев 1968: XV. 441]; о других, возможно, присутствовавших в Спасском в это время немцах сведений не уцелело. Контакты с Я. Фуксом и его семьей продолжались у писателя и в зрелом возрасте. Впоследствии Тургенев поддерживал отношения с его сыном, В. Я. Фуксом, ставшим в 1860-е гг. членом Главного управления по делам печати. В 1881 г., в одной из дружеских бесед с Я. П. Полонским, Тургенев рассказал о «добром немце»,

спасшем его в детстве от незаслуженного наказания. Вполне возможно, что речь шла именно о Я. Фуксе:

Драли меня за всякие пустяки чуть не каждый день... Раз одна приживалка, уже старая (Бог ее знает, что она за мной подглядела), донесла на меня моей матери. Мать без всякого суда и расправы, тотчас же начала меня сечь <...> На другой день, когда я объявил, что решительно не понимаю, за что меня секли, меня высекли во второй раз и сказали, что будут каждый день сечь до тех пор, пока я сам не сознаюсь в моем великом преступлении. Я был в таком страхе, в таком ужасе, что ночью решился бежать. Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробирался по коридору в сени <...> Как вдруг в коридоре появилась зажженная свечка, и я, к ужасу своему, увидел, что ко мне кто-то приближается: это был немец, учитель мой; он поймал меня за руку, очень удивился и стал меня допрашивать. — Я хочу бежать, — сказал я и залился слезами. «Как, куда бежать?» — Куда глаза глядят. — «Зачем?» — А затем, что меня секут, и я не знаю, за что секут. — «Не знаете?» — Клянусь Богом, не знаю. — «Ну, ну, пойдете... пойдете». Тут добрый старик обласкал меня, обнял и дал слово, что уж больше наказывать меня не будут. На другой день утром он постучался в комнату моей матери и о чем-то долго с ней наедине беседовал. Меня оставили в покое [Островский: 18–19].

Этот эпизод, запомнившийся Тургеневу на всю жизнь, тем не менее, никак не отразился на оценке немцев в его творчестве. В текстах писателя эпитет «добрый» по отношению к немцу употребляется исключительно иронически, в том значении, о котором писали в уже упоминавшейся статье Жуковская, Мазур и Песков. Думается, потому, что, находясь в пространстве этого ироничного по отношению к немцам нарратива, Тургенев, сознательно или невольно становился его участником.

В 1827 году Тургеневы переселяются из деревни в Москву, где среднего сына помещают в пансион Вейденгаммера (ср. фамилию и должность владельца пансиона Винтеркеллера в рассказе «Яков Пасынков»). Там будущий писатель обучался до 1829 года, после чего был переведен в «лучший из тогдашних московских пансионов» — учебное заведение Краузе [Там же: 20]. К тому времени он уже владел немецким, в 1830 г. он изъяснялся на нем свободно. С. Н. Тургенев, лечившийся в это

время в Германии, даже упрекал сыновей за то, что они писали ему только по-немецки или по-французски и пренебрегали своим «природным» языком [Летопись: 18].

В течение двух лет (1829–1831) будущий писатель попеременно обучался в пансионе Краузе, у Вейденгаммера или с помощью домашних учителей. В итоге, в 1831 г. он перешел на домашнее обучение, среди его учителей были знаменитые в то время педагоги П. Н. Погорельский и Д. Н. Дубенский, но кроме них преподавали и иностранцы. О них Тургенев впоследствии упоминал в плане неосуществленного автобиографического рассказа «Учителя и гувернеры» (1881): «Немец — чтец Шиллера; Рикман — музыкант. Гитара. Дозе.; Мейер — эльз<асец> — пудель — фехтова<льщик>; Шааф — восторженный — мистик, проповедник и пьяница» [Тургенев 1968: XIII, 352]. Один из них, вероятно, тот, имени которого Тургенев не мог вспомнить и обозначил его как «чтеца Шиллера», встречается и в воспоминаниях Н. С. Тихонравова. Мемуарист, со слов Тургенева, описывает учителя как человека, «который очень плохо говорил по-русски, не мог без слез читать Шиллера и вскоре оказался простым седельником, без всякой педагогической подготовки» [Островский: 22]. Именем второго гувернера в списке — музыканта Рикмана — Тургенев назовет впоследствии персонажа из «Дневника лишнего человека»:

Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один художочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибленное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине [Тургенев: IV. 169].

Его специализация не уточняется, но косвенным указанием на нее служит песня, в которой немец поет о своем желании вернуться в Германию.

Более отчетливо мотив ностальгии в связи с профессией музыканта прозвучит в «Дворянском гнезде». Тут вполне возможно рассматривать Рикмана в качестве одного из прототипов, хотя фигура реально существовавшего немца в значительной степени перерабатывается. Она подается в романе

сквозь призму многочисленных литературных наслоений, в том числе, — собственных произведений Тургенева, одним из таких «автопретекстов» становится «Дневник лишнего человека».

В 1833 г. 15-летний Тургенев, во многом благодаря отличной домашней подготовке, успешно выдержал вступительные экзамены в Московский университет на отделение словесности. Там он проучился год, затем в 1834 г. переехал в Петербург, где вскоре был принят в Санкт-Петербургский университет, после окончания которого он в 1838 г. отправился из Петербурга в Берлин с целью продолжить обучение. Впоследствии он писал: «Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться пригготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей» [Летопись: 34].

Почти трехлетнее пребывание в чужой стране и тесное соприкосновение с ее культурой оказали сильное влияние на мировоззрение писателя. Лекции немецких профессоров, знакомство с известными литераторами, превосходное знание языка, а также сближение с представителями русской интеллигенции — все это на фоне увлечения идеалистической философией обеспечивало открытость и непредвзятость при контакте с другой культурой. Однако круг немецких знакомств Тургенева, как следует из «Летописи» и писем писателя, не простирался далее академического и контактов с несколькими литературными знаменитостями. За год до приезда Тургенева Станкевич так описывал свое времяпровождение с Грановским и Неверовым в Берлине:

Мы ведем жизнь по-прежнему: я больше привык к ней, хоть не могу сказать, чтоб стал веселее... Мы трое составляем особенный отдел между здешними русскими и не входим с ними в тесные связи. Признаться по правде, и не с кем: наши педагоги прежалкий народ. **Между немцами также я не имею знакомых**, Грановский — давний домосед, Неверов только посещает Мендельзона зятя, у которого даются концерты, какую-то Fräulein von Solmar (эта дама организовала кстати литературный салон, который впоследствии посещали европейские писатели, напр., Джордж Элиот), которая поит его чаем, и здешнюю литературную знаме-

нитость Варнгагена фон Энзе, большого охотника писать биографии. Из этих трех мест доходят до нас идеи художественные, литературные, общественные, а наша жизнь разделена между университетом и театром. Я более познакомился с молодым профессором Вердером и начал на днях брать у него часы приватно. Он с большим жаром занимается моим образованием, терпеливо слушает мои нелепые возражения и старается меня вразумить всячески [Станкевич: 182].

Тургенев хоть и призывал впоследствии своих соотечественников активно включаться в берлинскую жизнь, в этот период незначительно расширил круг уже установленных Станкевичем и Неверовым контактов, за исключением знакомства со знаменитой корреспонденткой Гете Беттиной фон Арним. Высказывания же о простых немецких жителях крайне малочисленны и поверхностны (например, упоминание о докторе в письме Бакунину из Дрездена или эпизод с Бертой в «Записке о Н. В. Станкевиче»). Вместе с тем, оценка, которую он дает немецкой интеллигенции, отличается от позиции Станкевича. У Тургенева сложились достаточно близкие отношения с ее представителями — профессором Вердером, Б. фон Арним и Фарнгагеном фон Энзе, впоследствии он вел с ними переписку и периодически навещал их в Германии. Однако несколько лет спустя его прежний восторженный тон становится более сдержанным. Ироническая оценка, которую Тургенев дает своим прежним учителям — проф. Вердеру, Стеффенсу, Б. Арним связана с разочарованием в немецкой идеалистической философии, наступившим вскоре после его возвращения в Россию. Это обстоятельство отразилось в его прозе 1840–1850 гг. и повлияло на изображение немецких персонажей в этот период.

**Немецкая культура и «русский характер»:
«наставники» и «ученики» в произведениях
Тургенева 1840-х – 1850-х гг.**

**А. Образы немцев-наставников
в произведениях Тургенева 1840-х гг.**

Уже в первом рассказе Тургенева «Андрей Колосов» (1844) появляется вставная микрорассказ о немецком наставнике и его семействе, которая рассматривалась исследователями в связи с биографией писателя (Летопись). Незадолго до переезда юного Тургенева, поступившего в Петербургский университет, В. П. Тургенева заболела и стала собираться за границу. Муж должен был покинуть Москву, чтобы помочь ей в сборах, в связи с чем возникал вопрос, под чьим присмотром оставить среднего сына. С. Н. Тургенева беспокоило легкомысленное поведение Ивана, но он сомневался, что у Краузе сын будет под надежным присмотром: «Ваню <...> одного оставить нельзя — а у Краузе по некоторым отношениям нельзя — и так на счет его ничего определенительно не знаю» [Летопись: 24]. По версии составителей «Летописи», студенческая жизнь Тургенева в Москве позднее отразилась в рассказе «Андрей Колосов» (1844). Главный герой рассказа — студент Московского университета, которого отец определил на проживание к профессору-немцу, поначалу опасается строгого, на первый взгляд, наставника. Но вскоре он понимает, что немец не собирается заниматься его воспитанием и, в итоге, пользуется почти неограниченной свободой.

На наш взгляд, при всей автобиографичности рассказа, параллель между И. Ф. Краузе и немецким профессором из «Андрея Колосова» более чем сомнительна. Институт Краузе имел репутацию «лучшего из тогдашних московских пансионов» [Островский: 20], а его владельца Тургенев впоследствии характеризовал как добродушного, чувствительного и неглупого [Лебедев: 52]. В «Андрее Колосове» представлен совершенно иной характер, имеющий скорее литературную генеалогию:

Десять лет тому назад, милостивые государи, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольно количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно: с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закорила меня насмерть. <...> Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи» [Тургенев: IV. 8].

Речь рассказчика насыщена риторическими фигурами и литературными отсылками. Не случайно С. Е. Шаталов увидел в нем «современного Митрофана» [Шаталов 1969: 68]. Мотив оставления родного дома, образ главного героя, а также стиль его речи отсылают не только к герою Фонвизина, но и к пушкинскому «недорослю». Очевидно, образ немецкого профессора проецируется на французского гувернера из «Капитанской дочки», который не был «врагом бутылки». «Беспутный» Бопре так же, как и немецкий «наставник» у Тургенева, не стесняет свободы своего подопечного: «Хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не

желал. Но вскоре судьба нас разлучила <...>» [Пушкин: VI. 259].

Вместе с тем, типологически близкие образы Бопре и тургеневского «наставника» существенно отличаются друг от друга: Тургенев избирает для своего героя немецкую идентичность, и эта замена имеет принципиальное значение. В 1841 г. выходит повесть В. Соллогуба «Аптекарьша», в которой немец-профессор также не гнушается земными удовольствиями:

Рейнвейн и сигары были его отдохновением, единственной его роскошью, для доставления которой дочь его, пятнадцатилетний ребенок, круглый год считала и берегла копейки, лишала себя всех прихотей, свойственных ее возрасту, носила все то же ситцевое платье по будням и белое по воскресеньям и торговалась упорно в цене жизненных припасов, но зато сигары выписывались из Гамбурга, а вино — от берегов Рейна <...>. За рюмкою вина, в особенности отечественного, немец оживляется, молодеет, рассказывает, и, как дитя тешится игрушкой, он тешится своей стариной... [Соллогуб 1988: 167]

Однако досуг немецкого профессора в «Аптекарьше» не выходит за рамки благопристойности. Отец главной героини полнотью оправдывает свое ученое звание, автор изображает его с симпатией, подчеркивая его бедность и внутреннее благородство. Иначе дело обстоит с тургеневским рассказом, в котором скрещивание профессорского статуса и плохо совместимых с ним социальных ролей (пьяница-муж, кухарка-жена) носит откровенно эпатазирующий характер. Тот же прием ранее применил Гоголь, назвав своих героев, не обремененных интеллектуальными занятиями и склонных к гедонизму «добрых немцев», именами немецких романтиков Шиллера и Гофмана.

Как уже говорилось выше, в 1840-е гг. гораздо актуальнее для русского национального мифотворчества становится проблема остзейских немцев, тем не менее, Тургенев обращается к иронической традиции 1820-х – 1830-х гг. Причины этого, очевидно, нельзя свести к авторитету Гоголя в русской литературе этого времени и выдвигаемым Белинским требованиям следовать принципам «натуральной школы». Все же Тургенев, уже с начала своей литературной деятельности заявивший

о себе как о самостоятельном и оригинальном писателе, не мог механически копировать гоголевские образы. В таком случае, почему образ немецкого профессора в первом тургеневском рассказе оказывается ближе к традиции более чем десятилетней давности? Очевидно, в данном случае мы имеем дело с внутренней логикой самого Тургенева, которая отличалась от динамики развития немецких образов в русской культуре. Для подтверждения нашего тезиса обратимся к художественной концепции самого текста.

Традиционно считается, что основной идеей рассказа «Андрей Колосов» является осуждение «прекраснодушной мечтательности» и апология трезвого отношения к жизни. Несмотря на то, что в советском литературоведении эта мысль трактовалась несколько прямолинейно (рассказчик — погрязший в рефлексии «лишний человек»), Колосов — реалист, он естествен и являет собой образец нравственности [Бялый: 331; Тургенев: IV. 555; Шаталов: 63–75]), думается, что она могла бы прояснить значение персонажа-немца в рассказе.

В центре сюжета «Андрея Колосова» — любовный треугольник, возникающий между основными действующими лицами. Заглавный герой — «душа» небольшого студенческого общества, — полюбив наивную и несколько простоватую девушку Варю, быстро к ней охладевает. В свою очередь, в Варю влюбляется и идеализирующий Колосова рассказчик, но также вскоре ее покидает. Рассказчик на протяжении всей истории подвергает свои чувства самому пристальному анализу, сравнивает свое поведение с действиями Колосова и постоянно уличает себя в неестественности — в надуманности своей страсти к Варе, в попытках подчинить свои поступки некоей внеположной той ситуации, в которой он оказался, логике. Даже десять лет спустя после описываемых событий рассказчик не может до конца освободиться от некоторого доктринерства. На основе истории о дважды покинутой девушке выстраивается целая теория, в соответствии с которой производится суд над участниками ситуации. Однако эта теория все время вступает в конфликт с бытовым смыслом рассказанного любовного эпизода и опровергается им.

Эта психологическая особенность героя тесно связана с интеллектуальными «романами» (любовными увлечениями) русских шеллингианцев 1830–40-х гг. Шеллинг отводил любви особую роль, считая ее, наряду с гениальными произведениями искусства и великими историческими свершениями, одним из проявлений мировой души, поэтому молодые люди 1830–40-х гг. придавали любви исключительное значение и не столько предавались ей, сколько ее изучали. В результате чрезмерной интеллектуализации чувств такие философские «романы» были, как правило, недолговечны. Сам Тургенев, незадолго до написания «Колосова» переживший изнурительный для обеих сторон интеллектуальный роман с Т. Бакуниной, позднее дал этому явлению развернутую характеристику в «Рудине»:

Эта девушка была точно предобренькая <...> На третий день, после первой встречи с ней, я уже пылал, а на седьмой день не выдержал и во всем сознался Рудину <...> я Рудину исповедовался во всем. <...> Узнав о моей любви, он пришел в восторг неописанный: поздравил, обнял меня и тотчас же пустился вразумлять меня, толковать мне всю важность моего нового положения. Я уши развесил... <...> Слова его подействовали на меня необыкновенно. Уважение я к себе вдруг возымел удивительное, вид принял серьезный и смеяться перестал. Помнится, я даже ходить начал тогда осторожнее, точно у меня в груди находился сосуд, полный драгоценной влаги, которую я боялся расплескать... <...> Рудин пожелал познакомиться с моим предметом; да чуть ли не я сам настоял на том, чтобы представить его <...> он разрушил мое счастье <...> вследствие своей проклятой привычки каждое движение жизни, и своей и чужой, пришпиливать словом, как бабочку булавкой, он пустился обоим нам объяснять нас самих, наши отношения, как мы должны вести себя, деспотически заставлял отдавать себе отчет в наших чувствах и мыслях, хвалил нас, порицал, вступил даже в переписку с нами, вообразите!.. Ну, сбил нас с толку совершенно! <...> пошли недоразумения, напряженности всякие — чепуха пошла, одним словом. <...> Помню до сих пор, какой хаос носил я тогда в голове: просто всё кружилось и переставлялось, как в камер-обскуре: белое казалось черным, черное — белым, ложь — истиной, фантазия — долгом... [Тургенев: V. 259–261]

Рассказанный Лежневым эпизод развивает сюжет «Андрея Колосова», в котором, очевидно, впервые было дано описание философского кружка и кружковой психологии (в этой связи концептуальную нагрузку несут не только главные герои, но и фоновые персонажи — сочинитель «серых» романов Пузырицын, остролов Щитов, Бобов, Гаврилов). Стремление к подобному жизнестроительству на основе теорий немецких философов касалось не только любовных взаимоотношений, но распространялось и на другие жизненные сферы. Фактически, русские идеалисты 1830–40-х гг. видели в немецкой философии ключ к универсальному и непротиворечивому знанию о жизни. С его помощью они стремились объяснить самих себя и окружающий мир. Русские почитатели Шеллинга и Гегеля переводили бытовые явления с обыденного «языка» на язык философских понятий, с помощью которого пытались их «расшифровать»:

Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту» или к «трагическому в сердце»... [Герцен 1969: 343]

Уже вскоре после возвращения из Берлина Тургенев начинает довольно скептически отзываться об идеалистической философии. В последующие годы писатель все более в ней разочаровывается, осознавая, что абстрактные идеи «не приложимы к российской действительности», а его карьерным планам, которые он связывал с полученным в Берлине образованием — он намеревался стать профессором философии, — не суждено сбыться. Прежнее восхищение берлинскими знаменитостями сменяется иронией, указанием на их недостатки (см. далее описание Б. Арним и К. Вердера в «Первом письме из Берлина»). Так, в «Гамлете Щигровского уезда» (1849) герой, описывая свой интеллектуальный роман с дочерью немецкого профессора, довольно безжалостно характеризует ее отца.

Схожую характеристику, но в гораздо более мягких тонах, современники давали профессору Вердеру⁶:

У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие — бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушиблен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки всё на лбу держал; притом ученейший был человек... И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен, — да целых шесть месяцев этак всё казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало, — больше так на нее смотрел; но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не то просто вверх. Притом она так отлично варила кофе!.. Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то всё под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я наконец не выдержал такого счастья и убежал [Тургенев: III. 264].

Ироничное описание профессора-немца здесь гораздо более сдержанно, по сравнению с карикатурным образом немецкого

⁶ «Поддерживать обыденный житейский разговор он не умел, а если случалось, то говорил коряво, с запинками, мучительно долго подбирая простые слова. Не умел он также и слушать собеседника, плохо разбирался в людях. Но как только представлялся повод поговорить на отвлеченную тему, речи его лились рекой» (цит. по [Лебедев: 84]). Похожая характеристика впоследствии будет дана Рудину: он превосходно владеет отвлеченным философским языком, но ему плохо удастся поддерживать разговор на бытовые темы — «в его описаниях недоставало красок. Он не умел смешить» [Тургенев: V. 229]. Не умел Рудин и смеяться: «Когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение, глаза ежились, нос морщился» [Там же: 234]. Характерной деталью, намекающей на «немецкие» черты личности Рудина, является его нечуткость к русской речи: «Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротой речи в устах Дарьи Михайловны, да и вряд ли имел он на это ухо» [Там же: 232].

наставника из «Андрея Колосова». Как мы полагаем, потому, что, во-первых, прежние профессиональные амбиции к 1849 г. для Тургенева — уже известного писателя, автора многих очерков из «Записок охотника» — не были столь актуальны. Во-вторых, воспоминания о премухинском романе с течением времени переставали быть столь угнетающими. В-третьих, в конце 1840-х гг. Тургенев уже обладал достаточным писательским опытом, в отличие от времени написания первого рассказа.

Тем не менее, и в том, и в другом случае немецкие образы выполняют одну и ту же функцию. Образы немецких наставников в «Андрее Колосове» и в «Гамлете Щигровского уезда» имеют символический смысл. Перед нами указание на источник того психологического типа, который возникает в русских студенческих кружках 1830–1840-х гг.⁷ Этот источник, по вине которого тургеневские герои начинают экспериментировать с собственной психикой, писатель стремится всячески дискредитировать.

В текстах с героем, погруженным в кропотливый анализ собственных чувств, немцы могут возникать даже не как персонажи, а как риторическая фигура в речи повествователя, но ее роль остается той же:

Я даже весьма мало думал о предстоящей мне возможности лишиться жизни, этого, **как уверяют немцы**, высшего блага на земле. Я думал об одной Лизе, о моих погибших надеждах, о том, что мне следовало сделать. «Должен ли я постараться убить князя? — спрашивал я самого себя и, разумеется, хотел убить его, не из мести, а из желания добра Лизе. — Но она не перенесет этого удара, — продолжал я. — Нет, уж пусть лучше он меня убьет!» Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный человек, принудил такую важную особу драться со мной [Тургенев: IV. 199].

⁷ В «Рудине» наставником и одновременно «жертвой» становится главный герой — пропагандист немецких философских идей. Не случайно в завязке Рудин вводится в роман как своеобразная замена барона Муффеля.

Погружение в собственный внутренний мир и неумение контактировать с реальностью, которые, по Тургеневу, становятся следствием чрезмерного увлечения немецкой философией, оцениваются как трагическое отклонение от гармонического развития личности. Эту идею писатель развивает в своих последующих произведениях.

Персонажи повести «Переписка» (1846–1856), находясь в юности под влиянием шеллингианских идей, пережили неудачный опыт интеллектуального романа. В развязке подобным отношениям «по немецкому рецепту» противопоставляется иная концепция любви — главный герой в итоге переживает настоящую страсть, но, в силу того, что изначально его психологическое развитие пошло не в том направлении, эта страсть становится для него роковой. Смертельно заболев, герой с горечью констатирует разрыв между системным знанием о жизни, которое предлагается немецкими профессорами, и оказавшейся для него непереносимой реальностью:

Любовь даже вовсе не чувство; она — **болезнь**, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она и проявляется не всегда одинаково; обыкновенно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли — ни дать ни взять холера или лихорадка... Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка, и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся... В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения душ и прочих идеальностей, придуманных на досуге **немецкими профессорами**... [Тургенев: V. 47]

Вообще, тема болезни — одна из основных в повести «Переписка». Сквозным становится мотив «больного» поколения. Герой считает, что главная проблема современного человека заключается в неправильном развитии личности, в интеллектуальной изоциренности, лишаящей его способности к спонтанному проявлению чувств и подрывающей его веру:

У нас, **русских**, нет другой жизненной задачи, как опять-таки разработка нашей личности <...> Не получив извне никакого определенного направления, ничего действительно не уважая, ничему крепко не веря, мы вольны делать из себя что хотим... <...>

И вот опять на свете одним уродом больше, <...> одним из тех существ, обессиленной, беспокойной мысли которых не знакомо вовек ни удовлетворение естественной деятельности, ни искреннее страдание, ни искреннее торжество убеждения... Совмещая в себе недостатки всех возрастов, мы лишаем каждый недостаток его хорошей, выкупающей стороны... Мы глупы, как дети, но мы не искренни, как они; мы холодны, как старики, но старческого благоразумия нет в нас... Зато мы психологи. О да, мы большие психологи! Но наша психология сбивается на **патологию**; наша психология — это **хитрое изучение** законов **больного** состояния и **больного развития**, до которых здоровым людям нет никакого дела... А главное, мы не молоды, в самой молодости не молоды! [Тургенев: V. 27]

Речь здесь идет уже не просто о кружковой психологии, но о пороках, подкосивших целое поколение. И в этой связи знаменательно, что, предвосхищая дальнейшие излияния героя, в предыстории повести изображается немец-доктор, над которым находящийся при смерти больной иронизирует:

...мы всячески старались убить время: играли вдвоем в дурачки, трунили над доктором. Мой земляк рассказывал этому весьма лысому немцу разные небылицы на свой счет, которые доктор всегда «давно предугадывал»; передразнивал его, когда он удивлялся какому-нибудь необыкновенному, небывалому припадку, кидал его лекарства за окно и т. д. <...> Алексей всякий раз отделялся остротами насчет всех докторов вообще и своего в особенности <...> Перед самой смертью обычная веселость ему изменила: он с беспокойством заметался на постели, вздыхал, тоскливо озирался... <...> Алексей, однако ж, скоро восторжествовал над этим последним, поздним сожаленьем... «Послушайте, <...> наш доктор сегодня придет и найдет меня мертвым... Воображаю себе его рожу...» И умирающий постарался его передразнить... [Там же: 18]

Немец-доктор, самодовольно выписывающий рецепты безнадежному больному, в данном случае, — развернутая метафора наивного жизнестроительства «по немецкому рецепту» (а именно это подчеркивается затем в биографии главного героя). Ирония Тургенева вызвана, прежде всего, размышлениями над этой чертой «русского» характера: из-за безоглядного

следования авторитетам, он стремится эти авторитеты ниспровергнуть⁸.

Ирония по отношению к немецким наставникам, которых изображает Тургенев в 1840-е гг., усиливалась на фоне разочарования самого писателя в той чисто рационалистической картине мира, которая предлагалась немецкими философами (прежде всего, Шеллингом и Гегелем), а также стремления преодолеть свое раннее германофильство.

Несмотря на то, что образы немецких наставников как будто бы продолжают ироническую традицию в изображении немцев в 1820-е – 30-е гг., близость эта чисто типологическая.

⁸ Похожую функцию выполняет упоминание немецких учителей в романе «Отцы и дети», где в финале изображается также врач-немец. Правда, в отличие от героев-идеалистов, «учителями» Базарова, умирающего от тифа, но — в конечном итоге — от безответной любви, становятся философы-материалисты: «Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович. — Физикой, да; вообще естественными науками. — Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части. — Да, **немцы в этом наши учителя**, — небрежно отвечал Базаров. <...> — Тамошние ученые дельный народ. — Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия? — Пожалуй, что так. <...> — Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, *Гётте*... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли всё какие-то химики да материалисты... — **Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта**, — перебил Базаров» [Тургенев: VII. 27–28]. Появление доктора-немца в финале дополнительно акцентирует различие между проповедуемой Базаровым доктриной и его личностью, которая оказывается намного шире и глубже. Если немцу-врачу (своего рода аналогу «порядочного химика») остается лишь констатировать скорую смерть героя, то впоследствии, как бы в противовес этим идеям, в романе говорится о «жизни бесконечной», что бросает дополнительный отсвет и на характер Базарова.

Помимо гоголевских героев тут следует назвать лекаря из «Станционного смотрителя» [Пушкин], а также персонажей из повестей Н. А. Полевого («Блаженство безумия», «Эмма») [Полевой 1989; 1986]. В повести «Эмма» немец-доктор — последователь Месмера, досконально изучивший медицину и верящий в магнетизм, остается совершенным профаном в области человеческих чувств. Желая вылечить сошедшего с ума юношу с помощью магнетизма, он приближает к нему юную Эмму, при этом не догадываясь о последствиях. В итоге Эмма влюбляется в быстро выздоравливающего больного, и это оканчивается для нее трагически.

Несмотря на, казалось бы, схожий сюжетный ход, герои Полевого несопоставимы с доктором из повести «Переписка», и ни о какой преемственности не может идти речи. Полевой, находясь под влиянием Гофмана, варьирует в своих текстах его образы и сюжеты (ср. явную проекцию повести «Блаженство безумия» на новеллы «Песочный человек» и «Повелитель блох» или же отсылки к повести «Магнетизер» в «Эмме»), тогда как тургеневские герои, во-первых, отсылают к другим источникам, а во-вторых, имеют совершенно иную функцию. Именно по функции они отличаются также от гоголевских Шиллера и Гофмана. Гоголь, с нашей точки зрения, пародийно переосмысляет гофмановские сюжеты: именно с этой целью он называет его именем русского немца. Этой же цели служит и абсурдистская сюжетная коллизия «Невского проспекта»: мечтатель-художник, влюбившись в проститутку, идеализирует ее в своих мечтах. Он пытается наставить ее на истинный путь, но его усилия оказываются тщетными, в результате чего он кончает жизнь самоубийством.

В отличие от Гоголя, Тургенев сосредотачивается на психологическом типе, сформировавшемся в 1840-е гг., и критике тех условий, которые помешали «правильному» развитию его личности. Поэтому ироническое изображение немцев в этот период становится для него не просто способом преодолеть прежние увлечения, но, главным образом, отражает его мысль о пагубном отсутствии в «русском характере» самостоятельности. И в этом аспекте логика Тургенева отчасти пересекает-

ся с логикой славянофилов. Однако основным остаются все же личные искания самого писателя.

Эта ситуация меняется уже в 1850-е гг., когда Тургенев переходит от критики высокой немецкой культуры к ее утверждению, однако это утверждение происходит как бы на новом уровне и не равняется его германофильству в студенческий период. Теперь Тургенев подходит к немецкому культурному наследию дифференцировано, проводя четкую границу между высокой культурой и ее искаженной рецепцией — «филистерством». Об отражении этой позиции в «Якове Пасынкове» и «Фаусте», а также о причинах подобной переоценки речь пойдет далее.

Б. «Филистеры» и «подлинные» романтики в произведениях 1840-х – 50-х гг.

Немцы-наставники в новеллистике Тургенева 1850-х гг., как и в предшествующий период, изображаются иронически. Но, в отличие от произведений 1840-х гг., теперь эти сниженные образы возникают на фоне утверждения несомненной ценности немецкой высокой культуры. Жизненным кредо Якова Пасынкова, названного «последним романтиком», является “Resignation” Шиллера, а заглавие повести «Фауст» воспроизводит название произведения — символа немецкого искусства. Выявить причины иронического отношения писателя к немецким персонажам в новый период творчества, с нашей точки зрения, поможет анализ оппозиции «филистеры — подлинные романтики». У Тургенева она имела два ярко выраженных аспекта. Во-первых, «филистерство» в его текстах могло трактоваться в традиционном смысле, как узость взглядов и самодовольное невежество. И именно это значение подчеркнул Р. Ю. Данилевский в немецких образах рассказа «Яков Пасынков», отмечая, что «повесть <так у Данилевского. — Е. Ф.> вобрала в себя традиционный мотив, шедший от русской романтической прозы В. Ф. Одоевского и Н. А. Полевого, — противопоставление незаурядной личности пошлому обывательскому миру, показанному к тому же в наиболее выразитель-

ной и литературно «опробованной» форме немецкого филистерства» [Данилевский 1977: 48].

Во-вторых, Тургенев мог вкладывать в это понятие политический смысл, и это значение отразилось в его статьях 1840-х гг.

Исключением является лишь ранняя рецензия на русский перевод «Вильгельма Телля», в которой слово «филистерство» по смыслу близко к трактовке 1820-х – 30-х гг. Но и тут Тургенев, очевидно, обращался не к русской литературной традиции, а к другим источникам. Стремясь преодолеть свойственное многим его сверстникам (и ему самому) поклонение немецкой культуре и дать ей более рациональную оценку, писатель замечал о шиллеровском герое: «Он человек необыкновенный, но вместе с тем филистер: он настоящий немец... Гегель походил лицом, в одно и то же время, на древнего грека и на самодовольного сапожника» [Тургенев: I. 189].

По всей вероятности, Тургенев почерпнул этот эффектный (и вполне гоголевский) прием из современной немецкой литературной критики, за которой он в этот период следил особенно пристально. В 1840 г. в «Отечественных записках» был опубликован разбор сочинения немецкого критика Г. Маргграфа, включающий фрагменты из его книги, переведенные на русский язык [Неверов]⁹. Книга “*Deutschland’s jüngste Literatur und Cultur-Epoche. Charakteristiken von Hermann Marggraff*” (1839) представляла собой обзор современной немецкой литературы, который автор предварял анализом общественной ситуации в Германии и ее исторических корней. Маргграф считал, что «характеристика лиц <...> тесно соединена с характеристикой всего народа и эпохи», и, в этой связи, уделил много внимания описанию «немецкого характера». Приписываемую немцам сентиментальность он объяснял

⁹ Вполне возможно, что писателю был известен оригинал. Автор рецензии, Я. М. Неверов, был приятелем Тургенева, с которым они неоднократно встречались в Берлине. Тургенев мог ознакомиться с сочинением Маргграфа и позднее, в 1846–1847 гг., когда намеревался писать статью о немецкой литературе [Панаев: 12; Некрасов: X. 61–62].

влиянием литературы XVIII в., тогда как мечтательность и мистицизм он считал исконными свойствами немецкого характера:

Немцы именно тем странны и чудны, что хотя сами и не верят чудесам, но стараются их открывать во всем. Им желалось бы, чтоб были чудеса; они хотят наслаждаться впечатлениями сверхчувственного мира, потому что их собственный, действительный мир, лишенный всякой живой деятельности, производит на них слишком слабые впечатления. Сапожник неохотно остается за своей колодкой и, как Яков Бём, углубляется в мистические умствования; Сведенборг, скандинав Сведенборг, этот нравственный Калиостро, мог родиться только в племени германском. Только немцу, каков был Лафатер, могла прийти в голову мысль человеческий нос принимать за средоточие мирового порядка [Неверов: 25].

В этом ироническом пассаже как бы сглаживается граница между «земным» существованием немцев и их устремлениями к «сверхчувственному» миру. Маргграф выделяет ключевую, с его точки зрения, особенность немецкого сознания — способность свободно переходить от насущных проблем в область умозрительного, которая как бы нейтрализует противоречие между двумя этими сферами. То же утверждает в своей рецензии и Тургенев, оценивая, однако, эту особенность более негативно.

Подобно Маргграфу, Тургенев в своей статье исходит из представления о том, что ценность художественного произведения определяется тем, в какой степени оно воплотило в себе «национальный дух», сформировавшийся в результате исторических процессов и развития национальной культуры: «недостатки человека истинно великого, точно так же, как и его качества и вообще вся его личность, самым тесным образом связаны с недостатками, качествами и личностью его народа. «Телль», любимое произведение немцев, во всех отношениях выражает германский дух» [Тургенев: I. 189].

Более того, в это время Тургенев неоднократно пробует себя в роли критика и, в поисках методов литературного анализа, обращается к немецкой литературной критике, которая бы-

ла ему хорошо известна. Вероятно, к концу 1846 г. у Тургенева даже созревает решение написать большую статью о современной немецкой литературе, о которой в начале 1847 г. ему напоминают Некрасов и Панаев [Панаев: 12; Некрасов: X. 61–62]. Все это позволяет предположить, что идея о слиянии в немецкой ментальности «величия» и духовной ущербности, как и некоторые другие рассуждения писателя о немецком характере были почерпнуты, скорее из современной немецкой критики, чем из русской литературы 1820-х – 30-х гг.

Отказ Тургенева от реализации своего критического замысла, видимо, связан с изменившимся историческим и литературным контекстом конца 1840-х гг. На фоне установки на «социальность» в искусстве, которую требует от русских авторов в это время Белинский, а также провозглашенной им борьбы с романтизмом, в это время для Тургенева и его современников особенно актуальными становятся происходящие в Германии общественные процессы, а немецкое искусство как бы отходит на второй план. В ходе их осмысления меняется и тургеневская трактовка «филистерства».

Новое понимание филистерства писатель выразил в рецензии на русский перевод «Фауста» (1844). В ней отмечаются не только слабые стороны трагедии Гете, к которым Тургенев относит всю вторую часть, но и подвергается критике личность немецкого поэта. Статья начинается с достаточно обширного, с учетом объема рецензии в целом, описания исторических предпосылок, благодаря которым сложился особый этнопсихологический тип. Согласно Тургеневу, на его формирование повлияли раздробленность немецких земель и распространение романтической культуры с ее вниманием к индивидуальности: «Немец вообще не столько гражданин, сколько человек; у него чисто человеческие вопросы предшествуют вопросам общественным». В равнодушии к общественным проблемам Тургенев обвиняет и Гете, воспроизводя при этом мнение, высказанное Белинским в рецензии на второе издание сочинений Гете (1842):

Царь внутреннего мира души, поэт по преимуществу субъективный и лирический, Гёте вполне выразил собою созерцательную,

аскетическую сторону национального духа Германии, а вместе с нею необходимо должен был вполне выразить и все крайности этой стороны. Чуждый всякого исторического движения, всяких исторических интересов, обожатель душевного комфорта до бесстрастия ко всему, что могло смущать его спокойствие — даже к горю своего ближнего, немец вполне, которому везде хорошо и который со всем в ладу, Гёте невыносимо велик в большей части своих лирических произведений, в своем «Фаусте» — этой лирической поэме в драматической форме... [Белинский 1979: 282]

Однако Тургенев в своей статье дает более резкую формулировку — он называет Гете эгоистом. Эгоизм в данном случае означает равнодушие к общественным проблемам и уход в собственный внутренний мир: «как поэт Гёте не имеет себе равного, но нам теперь нужны не одни поэты... мы (и то, к сожалению, еще не совсем) стали похожи на людей, которые при виде прекрасной картины, изображающей нищего, не могут любоваться «художественностью произведения», но печально тревожатся мыслию о возможности нищих в наше время» [Тургенев: I. 219]. Таким образом, филистерство отождествляется с равнодушием к социальным проблемам и гражданской пассивностью и распространяется не только на простых бюргеров, но и на выдающихся деятелей немецкой культуры. Эту концепцию писатель развивает далее в статье «Письма из Берлина» (1847).

В этой статье, описывающей предреволюционную ситуацию в Германии, представление о двойственности «немецкого характера» заменяется разделением немцев на две категории, которые Н. А. Мельгунов определил как «буршей» и «филистеров» [Мельгунов].

В «Письмах» Тургенев оценивает общественную ситуацию в Германии амбивалентно. Статья иронична, многое в ней завуалировано. Это было вызвано, прежде всего, цензурными соображениями, но не только. С одной стороны, писатель констатирует «большие внутренние перемены», совершившиеся в немецком обществе, и признает, что Берлин является одним из центров европейского движения. Он поддерживает переход немцев к увлечению общественными проблемами, иронизируя

над их (и своими) прежними восторгами перед спекулятивной философией:

В сороковом году с волнением ожидали Шеллинга, шикали с ожесточением на первой лекции Штала, воодушевлялись при одном имени Вердера, воспалялись от Беттины, с благоговением слушали Стеффенса; теперь же на лекции Штала никто не ходит, Шеллинг умолк, Стеффенс умер, Беттина перестала красить свои волосы... Один Вердер с прежним жаром комментирует логику Гегеля, не упуская случая приводить стихи из 2-й части «Фауста»; но увы! — перед «тремя» слушателями, из которых только один немец, и тот из Померании [Тургенев: I. 291–292].

С другой стороны — иронию писателя вызывают и новые поветрия, распространившиеся в немецкой среде. Тургенев констатирует упадок искусства и несколько высокомерно оценивает выходящие в свет книги демократического направления:

На днях появилась здесь книга пресмешная и претяжелая, впрочем, очень строгая и сердитая, некоего г. Засса; он разбирает берлинскую жизнь по частичкам, и за недостатком других «элементов или моментов» общественности, с важностью характеризует здешние главные кондитерские... [Там же: 292]

По мнению Тургенева, ни первая, ни вторая группы не способны повлиять на государственную политику и изменить существующую общественную ситуацию. Поэтому город, «где встают в шесть часов утра, обедают в два и ложатся спать гораздо прежде куриц <...>, где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам да какой-нибудь буйный и подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у бранденбургских ворот тщательно гасит свою сигарку», ибо «немеет перед законом», с точки зрения писателя, «до сих пор еще не столица» [Там же: 291]. Такая оценка немецкого общества была вызвана не только революционными ожиданиями Тургенева. Речь шла о ключевом для самих немцев вопросе объединения Германии, который, по мнению писателя, не мог быть решен удовлетворительно с учетом политической «неразвитости» немецкого общества, т. к. сама немецкая ментальность, по Тургеневу, па-

радоксальным образом препятствовала консолидации немцев в единую нацию. Иначе говоря, Тургенев признает существование немецкого «национального характера» и тем самым солидаризируется с романтической концепции нации, но возникновение немецкой «политической нации» кажется ему сомнительным.

Эту мысль хорошо понял Н. А. Мельгунов, написавший в ответ полемическую статью «Бурши и филистеры»¹⁰. Автор, намекая на Тургенева, отмечал, что в России немецкое общество склонны разделять на «буршей» (представителей академических кругов) и «филистеров» (бюргеров) и оценивать обе эти части как «равно ничтожные» [Мельгунов: 150]. Мельгунов считал такое деление устаревшим и несоответствующим реальной структуре немецкого общества, а описание происходящего в Германии общественного брожения как смены одной группы (бурши) другой (филистеры) — схематичным и шовинистическим. С точки зрения Мельгунова, оживление немецкой общественной жизни, научные и технические достижения и главное, — «упорное, хотя и мирное стремление завоевать себе гражданственность», — напротив, свидетельствовали о близости окончательного решения проблемы объединения Германии [Там же: 153].

Мельгунов, однако, заблуждался относительно источников тургеневской классификации. Говоря о том, что она устарела, он возводил ее к творчеству немецких романтиков — Виланда, Жан Поля, Бёрне, в произведениях которых сочеталось «все, что тогдашняя германская жизнь заключала в себе идеально-возвышенного и филистерски-мелкого» [Там же: 151]. С нашей точки зрения, Тургенев отталкивался в большей степени от политической публицистики, прежде всего, высказываний своего друга Бакунина, еще в 1842 г. опубликовавшего статью «Реакция в Германии» [Бакунин 1987]. Это своего рода революционный манифест, в котором автор делит немецкое общество на группы, придерживающиеся разных политических сим-

¹⁰ Он полемизировал и с более ранними мнениями, высказанными Тургеневым в рецензии на русский перевод «Фауста».

патий (консерваторы и либералы), однако все они, с его точки зрения, консервативны. Бакунин призывает к отказу от политических заблуждений и признанию «принципа отрицания»:

Все народы и все люди исполнены каких-то предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, которое произнесет слово освобождения. <...> И потому мы взываем к нашим заблудшим братьям: покайтесь! покайтесь! царство божие близко! Позитивистам мы говорим: «Откройте ваши духовные очи, предоставьте мертвецам погребать своих мертвых и убедитесь наконец, что духа вечно юного, вечно рождающегося нечего искать в обрушившихся развалинах!» А соглашателей мы увещеваем раскрыть свои сердца для истины и освободиться от своей убогой и слепой мудрости, отказаться от своего теоретического высокомерия и холопского страха, который сушит их души и парализует их движения [Бакунин 1987: 225–226].

«Позитивисты» в данном случае — люди, придерживающиеся «положительного принципа», противоположного революционному, т. е. чистые консерваторы; соглашатели — либералы, но и они не желают перемен. «Освобождение», по мнению Бакунина, придет независимо от них. Концепция Тургенева полемична: именно благодаря тому, что немецкое общество политически незрело (две «равно ничтожные» группы буршей и филистеров), революция и, тем более, изменения на политической карте Европы маловероятны.

Во второй половине 1840-х гг. точка зрения Бакунина на немецкую политику становится более радикальной. Ему был необходим образ внешнего врага, которым он объявляет «немечину, пожирающую государства» [Бакунин 1920: 53]. В речи, произнесенной в ноябре 1847 г. в честь годовщины польского восстания, он заявлял, что врагом поляков является не русский народ, а «монарх немецкого происхождения, который не поймет никогда ни нужд, ни характера русского народа и правление которого, странная смесь монгольской грубости и прусского педантизма, совершенно исключает национальный элемент» [Там же: 42]. Эту мысль он развивает в «Воззвании к славянам» (1848): «Ведь, кто же этот Николай? Славянин?

Нет, голштинско-готторпский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхождения! — Друг своего народа? Нет, расчетливый деспот, без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому» [Бакунин 1920: 56].

В «Воззвании» он умело склоняет аудиторию против Австрии, утверждая, что она действует согласованно с немецким правительством, которое «против воли действительной немецкой нации, только и мечтает о расширении немецкого владычества и о покорении всех ненемецких народов, живущих на так называемой немецкой земле» [Там же: 53]. Цель и причины этой политической пропаганды очевидны — возможное объединение Германии представляет угрозу для проживающих на немецких территориях славянских народов, которых Бакунин призывает к консолидации. Поэтому стремление немцев к объединению преподносится как несвойственное их нации и выгодное лишь с точки зрения немецкого правительства.

В отличие от Бакунина, Тургенев не был сторонником славянского объединения, радикализм был ему чужд. Однако весь этот поток информации создавал то дискурсивное пространство, в котором он находился. Поэтому, с нашей точки зрения, его тезис о неспособности немцев к объединению как национальном свойстве является отголоском революционных идей Бакунина. Сам пренебрежительный тон «Писем из Берлина» связан, очевидно, не с жанром иронического письма, а с включенностью в этот идеологический поток. Само понимание филистерства в политическом ключе вытекало из осмысления предреволюционной ситуации в Германии, но как только обстановка стабилизировалась, этот вопрос перестал быть актуальным, и Тургенев, говоря о филистерах, уже вкладывал в это понятие традиционный смысл (как отметил Р. Ю. Данилевский).

Однако следует разобраться, действительно ли он возвращается к традиции 1820-х – 30-х гг., или же его ирония по отношению к немцам в произведениях 1850-х гг. объясняется другими причинами.

На первый взгляд, в рассказе «Яков Пасынков» повторяется основная тургеневская коллизия 1840-х гг. — в юности герою

были свойственны книжные представления о жизни, и он не избежал «интеллектуального романа»:

Предметом его страсти была племянница Винтеркеллера, белокурая, миленькая немочка, с пухленьким, почти детским личиком и доверчиво-нежными голубыми глазками. Она была очень добра и чувствительна, любила Маттисона, Уланда и Шиллера и весьма приятно произносила стихи их своим робким и звонким голосом. Любовь Пасынкова была самая платоническая; он видел свою возлюбленную только по воскресеньям (она приезжала играть в фанты с Винтеркеллеровыми детьми) и мало с ней разговаривал; зато однажды, когда она ему сказала “Mein lieber, lieber Herr Jacob!” он всю ночь не мог заснуть от избытка благополучия. Ему и в голову не пришло тогда, что она всем его товарищам говорила: “mein lieber”. Помню я также скорбь его и уныние, когда вдруг распространилось известие, что фрейлейн Фридерике <...> выходит замуж за герра Книфтуса, владельца богатой мясной лавки, очень красивого и даже образованного мужчину, и выходит не из одного повиновения родительской воле, но и по любви. Очень тяжело было тогда Пасынкову, и особенно страдал он в день первого посещения молодых. Бывшая фрейлейн, теперь уже фрау Фридерике, представила его, опять под именем lieber Herr Jacob, своему мужу, у которого всё блестело: и глаза, и завитые в кок черные волосы, и лоб, и зубы, и пуговицы на фраке, и цепочка на жилете, и самые сапоги на довольно, впрочем, больших, носками врозь поставленных ногах. Пасынков пожал господину Книфтусу руку и пожелал ему (и искренно пожелал — я в этом уверен) полного и продолжительного счастья. Это происходило при мне. Помню я, с каким удивлением и сочувствием глядел я тогда на Якова. Он казался мне героем!.. И потом какие грустные происходили между нами беседы! «Ищи утешения в искусстве», — говорил я ему. «Да, — отвечал он мне, — и в поэзии». — «И в дружбе», — прибавлял я. «И в дружбе», — повторял он. О, счастливые дни!.. [Тургенев: V. 61]

По версии рассказчика, и детская любовь к юной немке, и отношения с Машей — девушкой из народа, свидетельствуют о трагической судьбе Якова, так и не испытавшего взаимной любви с женщиной, близкой ему по уровню интеллектуального развития. Однако логика самого повествования подталкивает к иным выводам. «Естественный» идеалист Пасынков про-

ходит в юности через искус кружковой философии и интеллектуального романа, успешно их преодолевая. К концу жизни он «возвращается» к собственным, в том числе и национальным, истокам — он едет в Новгород, где происходит его знакомство с Машей, а затем повторяет маршрут и судьбу своего погибшего отца, отправляясь в Сибирь.

Более того, увлечение немецкой культурой не противоречит русской идентичности Якова. Его религиозность, отмеченная в рукописном варианте (рассказчик советует ему искать утешения не только в поэзии и дружбе, но и в религии [Тургенев: V. 406]) лишь подчеркивается цитатой из стихотворения И. И. Козлова: «Над нами / Небо с вечными звездами... / А над звездами их Творец...» [Там же: 62], источником которого, по наблюдению Р. Ю. Данилевского, послужил рефрен гимна Шиллера к радости [Тургенев и его современники: 47–49]; “Resignation” Шиллера, ставшее девизом героя, гармонирует с его «русской» покорностью судьбе. Даже сцена бреда умирающего Якова — место, в котором утверждение «русскости» героя достигает своей кульминации:

Какие деревья! — шептал он, — до самого неба. Сколько на них инею! Серебро... Сугробы... А вот следы маленькие... то зайка скакал, то бел горностаи... Нет, это отец пробежал с моими бумагами. Вон он... Вон он! Надо идти; луна светит. Надо идти сыскать бумаги... А! Цветок, алый цветок — там Софья... Вот колокольчики звенят, то мороз звенит... Ах, нет; это глупые снегири по кустам прыгают, свистят... Вишь, краснозобые! Холодно... А! [Тургенев: V. 78] —

и тут же дополняется самохарактеристикой героя, отсылающей к немецкой культуре: «Мечтателем родился, мечтателем!» [Там же: 79].

Концепция русского характера, сформированного, в том числе, европейскими источниками, вытекала из прежних споров со славянофилами, которые актуализировались в памяти писателя в связи с празднованием юбилея Московского университета в январе 1855 г. Именно в это время создается первый вариант рассказа «Яков Пасынков» [Там же: 402].

Тургенев по приглашению славянофилов был одним из участников их дружеского вечера в Москве, а затем в Абрамцеве, где не обошлось без споров в духе 1840-х гг. Обсуждение Крымской войны на этом вечере вскоре переросло в размышления о враждебности Европы к России и о превосходстве русской (православной) культуры над европейской (католической и протестантской), значение которой отрицалось [Лебедев: 282–287]. Как бы в противовес этим идеям герой тургеневского рассказа не утрачивает своей русской идентичности, несмотря на свою укорененность в немецкой культуре, или, выражаясь иначе, — не становится «немцем». В этой связи ключевым оказывается противопоставление «русского» характера «немецкой» ментальности, представителями которой выступают в рассказе «добрый немец» Винтеркеллер, сентиментальная, но приземленная Фридерике и ее недалекий избранник. И то, что Тургенев возвышает «русского европейца» Пасынкова на фоне немцев, которые изображаются «филистерами», свидетельствует о вторжении в тургеневское творчество антинемецких идей, вытекавших, конечно же, не из ироничного дискурса 1830-х гг., но из современных событий — «крика немцев против славян» [Бакунин 1921: 97], поднявшегося в немецкой печати после подавления пражского восстания, а затем и после Крымской войны.

Однако зачем в таком случае Тургенев так акцентирует участие немецких источников в формировании русского характера и почему вообще концепция «русского европейца» оказывается для него столь важна? Для ответа на эти вопросы рассмотрим персонажей этого рассказа более подробно.

Образ Пасынкова не лишен едва уловимой авторской иронии, касающейся его книжных представлений о жизни в юности. Они мешают Якову разглядеть свою возлюбленную, которая вполне соответствует характеристике, данной еще Белинским в 1835 г.:

одно из этих милых, кротких созданий, немочек-кухарочек, которых я люблю до смерти и которых еще никогда не выдывал, которые обещают избранному ими юноше и супружескую верность до гроба, и вкусно сваренный суп из картофеля, и тихое упоение

романтической любви, и самый классический порядок в доме и на погребке, которые сначала изображаются с серафимскими крыльями, а потом с связкою ключей, которые, наконец, начинают свое поприще идеалами, а оканчивают кухню и прачечную [Белинский 1976: 374].

Белинский оценивал таким образом героиню романа Полевого «Аббадонна», в котором поэт-романтик Рейхенбах в конечном итоге предпочел детскую влюбленность любви к роковой женщине. Однако Генриетта, испытывающая во время увлечения Рейхенбаха актрисой Элеонорой муки отверженной любви, вызывает у критика «живейшее сострадание к своему положению». Итогом романа становится воссоединение Рейхенбаха с Генриеттой [Полевой 1840].

Но уже в 1841 г. Белинский отзывался о романе Полевого менее благожелательно. Он осудил в «Аббадонне» «ложное прекраснотушие» — «детское, бессильное, фразерское и смешное», смешное тем более, что сам Полевой и «не думал издеваться над ним, но от чистого сердца убежден, что представил нам в своем Рейхенбахе истинного поэта, душу глубокую, пламенную, могучую. И потому его Рейхенбах есть что-то уродливое, смешное, не образ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на серой и толстой бумаге дурно очинённым пером» [Белинский 1978: 491–492]. Мелкой и далекой от жизни кажется критику любовь Рейхенбаха к Генриетте — «простой девушке без образования, без эстетического чувства, но хорошенькой, добренькой и молоденькой. Кто не был мальчиком и не влюблялся таким образом, и в кузину, и в соседку, и в подругу по детским играм? Но у кого же такая любовь и продолжалась за ту эпоху, когда воротнички а l'enfant меняются на галстух? Рейхенбах думает об этом иначе, и во что бы то ни стало хочет обожать Генриетту до гробовой доски. Она тоже не прочь от этого». Финал романа, в котором герой избирает «обыкновенный удел» — семейное счастье с Генриеттой, трактуется критиком как торжество пошлости: «О, честное компанство добрых мещан! О, великий поэт, вышедший из маленькой фантазии! Видите ли, как ложная, натянутая идеальность сходится наконец с пошлою прозою жизни,

мирится с нею на конфетных страстишках, картофельных нежностях и плоских шутках?.. Это не то, что на человеческом языке называется “любить”, а то, что на мещанском языке называется “амуриться”...» [Белинский 1978: 492–493].

Известно, что Белинский послужил одним из прототипов Пасынкова. Тургенев в своем тексте буквально реализует отдельные формулировки из его статьи. С этой целью вводится история первой любви героя. Она соответствует юному возрасту героя, здесь как бы звучит мысль Белинского: «Кто не был мальчиком и не влюблялся таким образом, и в кузину, и в соседку, и в подругу по детским играм?» Но Яков преодолевает свое детское увлечение, как только «воротнички а l'enfant меняются на галстух». Риторическая формулировка Белинского буквально воплощается в тексте — до описания любви Пасынкова к Фредерике упоминается его платье, перешитое «из поношенных камлотовых капотов (большей частью табачного цвета)» матери Винтеркеллера, «престарелой, но еще очень бойкой и распорядительной лифляндки», которое становится предметом насмешек его товарищей («бабый капот»). Но в следующем за «немецким эпизодом» абзаце говорится, что повзрослевший и переживший свое детское увлечение Пасынков «вместо камлотовых курток и брюк получал уже обыкновенную одежду, в воздаяние за уроки по разным предметам, которые преподавал младшим воспитанникам» [Тургенев: V. 62].

Тем не менее, семейное счастье, которое, по мысли Белинского, становится «обыкновенным уделом» опошлившихся героев-идеалистов, уготовано в Тургеневском рассказе «красивому и даже образованному» Книфтусу и самодовольному Асанову. Оба эти героя сливаются в бредовом сознании умирающего Пасынкова: «А! вот Асанов... Ах да, ведь он пушка — медная пушка, и лафет у него зеленый. Вот отчего он нравится» [Там же: 78] — ср. с портретом Книфтуса, «у которого всё блестяло: и глаза, и завитые в кок черные волосы, и лоб, и зубы, и пуговицы на фраке, и цепочка на жилете, и самые сапоги на довольно, впрочем, больших, носками врозь поставленных ногах» [Там же: 61].

Очевидно, статья Белинского почти пятнадцатилетней давности о не самом популярном романе Полевого актуализировалась в сознании Тургенева в условиях современной литературной ситуации. К середине 1850-х гг. все более влиятельными становятся писатели радикального направления, не боявшиеся конкуренции с уже признанными литераторами. Новое поколение авторов «Современника» активно продвигало свои идеи, противопоставляя себя предшественникам. Несколько месяцев спустя после публикации тургеневского рассказа, высказывание Белинского об «Аббадонне» было полностью процитировано в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевского [Чернышевский 1984: 42–43]. Очевидно, эта цитата была приведена не только с целью выдвижения Гоголя, но и для того, чтобы осудить «ложный романтизм» людей 1840-х гг.

На этом фоне одной из ключевых задач Тургенева становится реабилитация поколения 1840-х гг. В этой связи он подчеркивает русскую идентичность Якова Пасынкова, представляя «немецкий» эпизод как характерное заблуждение юности своего героя. Тогда как немецкая культура — тот самый «знак» 1840-х гг., — сформировавшая характер Пасынкова, утверждается как абсолютная ценность. В отличие от периода 1840-х гг., когда европейские влияния на формирование личности русского человека изображались как пагубные, теперь, в изменившемся общественном и литературном контексте, они понимаются как неотъемлемая черта тургеневского поколения.

Разумеется, Тургенев далек от идеализации людей 1840-х гг. — они, с его точки зрения, не лишены недостатков, но недостатки эти, по Тургеневу, глубоко трагичны и потому себя оправдывают. Так, Яков Пасынков, в отличие от фрейлейн Фридерике, у которой увлечение Шиллером не противоречит вполне практическим устремлениям, не способен совместить эти две стороны в своей жизни, что и приводит его к трагическому финалу. Это качество, своего рода догматизм, особенно характерно для тургеневских русских героинь.

Такова Вера в «Фаусте», в которой материнское воспитание подавило присущую ей страстность и впечатлительность.

В результате контакта Веры с подлинным искусством, дремлющие в ней силы пробуждаются, и героиня, не выдержав их натиска, умирает. Такая восприимчивость Веры не к художественной литературе в целом¹¹, а именно к «Фаусту» знаменательна. Именно немецкий романтизм подталкивает ее к переоценке своей прежней жизни. На чтении «Фауста» в числе слушателей присутствует учитель немецкого Шиммель — «старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смиренным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе». Шиммель живо реагирует на чтение «Фауста»:

Первое восклицание сочувствия вырвалось у немца, и в продолжение чтения он один нарушал тишину... «Удивительно! возвышенно! — твердил он, изредка прибавляя: — А вот это глубоко» <...> когда я кончил, когда прозвучало это последнее «Генрих!» — немец с умилением произнес: «Боже! как прекрасно!» [Тургенев: V. 106–107].

Реакция Веры контрастна — она молчала и «не шевелилась» на протяжении всего чтения, лицо ее было бледным. Глубокое душевное потрясение, которое переживает героиня, несоизмеримо с несколько банальными восторженными восклицаниями Шиммеля. Однако дело не столько в том, что впечатления Веры глубоки, а восхищение Шиммеля — поверхностно. Тургенев здесь отмечает другую психологическую особенность своих героев.

Шиммель вполне способен понимать высокое искусство и наслаждаться природой. Его различие с Верой состоит в том,

¹¹ «Мы много читали, много толковали с ней в течение этого месяца. Читать с ней — наслаждение, какого я еще не испытывал. Точно новые страны открываешь. В восторг она ни от чего не приходит: всё шумное ей чуждо; она тихо светится вся, когда ей что нравится, и лицо принимает такое благородное и доброе... именно доброе выражение. С самого раннего детства Вера не знала, что такое ложь: она привыкла к правде, она дышит ею, а потому и в поэзии одна правда кажется ей естественной» [Тургенев: V. 111–112].

что он не проводит непреодолимой границы между бытом и сферой высокого искусства, не делает их взаимоисключающими:

Он поднял глаза к небу: Сколько звезд! — медленно проговорил он, понюхав табаку, — и это все миры, — прибавил он и понюхал в другой раз <...> после нравственного удовольствия физический отдых столь же благодетелен, сколь полезен — возразил добрый немец и выпил рюмочку водки [Тургенев: V. 107–109].

У Веры такая способность отсутствует, ведь Ельцова, разделив мир на две сферы — эстетическую и практическую («Я думаю, надо заранее выбрать в жизни: *или* полезное, *или* приятное», — курсив Тургенева), уже в детстве оградила свою дочь от всего, что могло воздействовать на ее воображение. Повзрослев и столкнувшись с неведомой ей прежде областью, Вера по-прежнему не может совместить эти две стороны своей жизни, однако теперь из нее вытесняется все «полезное». Приобщившись к немецкой культуре и отрекшись от «быта», героиня, таким образом, оказывается беззащитной перед жизнью. Это хорошо показано в сцене катания на лодке, где главных героев сопровождает Шиммель:

...ветер усилился, волны покатались довольно большие, лодку слегка накренило; ласточки зашныряли низко вокруг нас. Мы переставили парус, начали лавировать. Ветер вдруг перескочил, **мы не успели справиться** — волна шлепнула через борт, лодка сильно зачерпнула. И тут немец показал себя молодцом; вырвал у меня веревку и поставил парус как следовало, промолвив притом: «Вот как это делается в Куксгафене!» — “So macht man’s in Cuxhafen!” [Там же: 115].

Тем не менее, односторонность главных персонажей ставится в повести превыше целостности, свойственной немцу Шиммелю, который изображен иронически. Это в высшей степени характерно для той эпохи, в которую создается «Фауст» — как уже было сказано, Крымская война вызвала мощную волну патриотизма в русской среде. Однако подобная оценка была связана также и с личными исканиями и размышлениями са-

мого Тургенева о ключевой для него в этот период проблеме целостной, лишенной внутренних противоречий личности.

Середина 50-х гг. была для писателя непростым временем как в личностном, так и в профессиональном плане. В связи с увлечением пессимистической философией Шопенгауэра Тургенев стремится выработать новую жизненную стратегию, которая помогла бы ему «избежать разрушительного воздействия чувств, чересчур острого ощущения трагизма жизни» [Пильд 1995: 168]. Кроме того, он по-прежнему занят поиском нового творческого метода. Эта проблема становится все актуальнее по мере роста конкуренции и усиления критики со стороны писателей-радикалов. Тургенев приходит к мысли о необходимости отказаться от важнейших жизненных ценностей и ограничить себя, что, как он надеялся, поможет ему организовать свою личность и сформировать объективный взгляд на мир. Как показала Л. Пильд, эта концепция восходит к идеям Гете, отразившимся в его книге «Поэзия и действительность» [Пильд 1995].

После охлаждения к Гете в 1840-х гг. теперь происходит утверждение творчества и идей немецкого поэта на новом уровне. В 1850-е гг. достижение «душевной невозмутимости», которую Тургенев приписывал Гете в своей ранней рецензии, становится одной из задач самого писателя, стремящегося, «не разрушаясь, даже не страдая, вынести в себе Мефистофеля». Но вместе с тем «гармоничность» обыденного немецкого сознания вызывает у него стойкое отторжение.

В отличие от 1840-х гг., когда одной из задач Тургенева, разочаровавшегося в идеалистической философии, была дискредитация «немецких профессоров», теперь гораздо более важными для писателя становятся размышления о русском характере. В своих повестях и рассказах этого периода он разрабатывает концепцию «русского европейца» [Маркович 1996] — тип русского интеллектуала, в сознании которого русская и европейская культуры, прежде всего немецкое романтическое искусство, органически сливаются в единое целое (Яков Пасынков, герой повести «Переписка», рассказчики в «Фаусте»

и «Асе»¹²). При этом названные герои не теряют своей национальной самобытности, которая подчеркивается на фоне их противопоставления немцам-«филистерам». Таким образом, меняется смысловое наполнение немецких образов — они эволюционируют в соответствии с меняющимся идеологическим контекстом эпохи и экзистенциальными исканиями самого Тургенева. Кульминацией этого большого «сюжета» о немецких наставниках становится образ Лемма в романе «Дворянское гнездо».

**В. Образ Лемма в романе «Дворянское гнездо»:
«германский гений» или «русский немец»?**

Традиционно образ Лемма трактуется как символ романтического искусства. Еще А. Григорьев, считавший «Дворянское гнездо» «безобразно недоделанным», назвал Лемма «тенью Бетховена» [Григорьев: 274]. Впоследствии художественная ценность романа уже не вызвала сомнений у исследователей, но наблюдения о Лемме, в целом, продолжили заданную Григорьевым линию [Алексеевские чтения: 246–247; Алексеев: 400–401; Brang: 16–17].

По всей вероятности, версия Григорьева легла в основу интерпретации А. А. Гозенпуда, сопоставившего образ Лемма с биографией немецкого композитора [Алексеевские чтения: 246–247]. М. П. Алексеев, в отличие от Гозенпуда, воздержался от проведения биографических параллелей. Но говорил о том, что отношение Тургенева к Лемму «отмечено высоким лиризмом» и что этот герой олицетворяет «любимейший вид искусства» писателя, указывая на творчество Гофмана и Вагнера как непосредственные источники этого образа. Помимо немецкой романтической традиции, ученый называл также русскую литературу 1820-х – 30-х гг. [Алексеев: 400–401]. Мысль о традиционности образа Лемма полностью поддерживал П. Бранг, причисляя его к «наиболее стереотип-

¹² Как показал В. М. Маркович, именно этой цели служит немецкий антураж — место действия (Зинциг) и фоновые герои (Ганхен, вдова бургомистра), — в повести «Ася» [Маркович 1996].

ным», т. е., в конечном итоге, возводя его к представлениям о немецком художнике/музыканте, закрепившимся в русской культуре в 1820-е – 30-е гг.

Все эти наблюдения справедливы, тем более что сюжет романа отнесен к 1842 г., и Тургенев тщательно следит, чтобы события, которые обсуждают его герои, волнующие их вопросы и увлечения соответствовали избранной эпохе. В этом смысле и образ Лемма является своего рода «знаком времени» — эпохи, когда немецкий романтизм был по-прежнему актуален, а образ немецкого музыканта/художника был распространен в русской беллетристике не менее, чем в предшествующие десятилетия [Одоевский; Соллогуб]. Но, с нашей точки зрения, недостаточно констатировать близость Тургенева к этой традиции — обращение к ней в конце 1850-х гг. нуждается в тщательной аргументации: можем ли мы, говоря о Лемме, ограничиться лишь источниками почти двадцатилетней давности? И вообще, сводится ли значение этого персонажа только к олицетворению романтического искусства? Для ответа на эти вопросы обратимся к самому роману.

В предыстории Лемма говорится, что он родился в семье бедных музыкантов и рано осиротел. С раннего детства он упражнялся в игре на различных инструментах и впоследствии превосходно разбирался в музыке, хотя и не был выдающимся исполнителем. В ходе долгих скитаний он попал в Россию в надежде разбогатеть, но это ему не удалось. Постарев, он занялся преподаванием и таким образом стал учителем музыки в доме Калитиных. В результате крушения надежд и невозможности вернуться на родину, Лемм «зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели» [Тургенев: VI. 20], во всем его облике сказывается «застарелое, неумолимое горе» [Там же: 19]. В ходе дальнейшего повествования раскрывается его глубокая одаренность, которая и дала Григорьеву основания сопоставлять его с Бетховеном.

Перед нами «каноническая» биография «германского гения», характеристика которого была дана еще в первой статье Белинского «Литературные мечтания» (1834): «В Германии, например, не тот учен, кто богат или вхож в лучшие дома и

блистательнейшие общества; напротив, гений Германии любит чердаки бедняков, скромные углы студентов, убогие жилища пасторов» [Белинский 1988: 36]. Позднее, в 1839 году, эта оценка встретится в «Истории двух калаш» В. А. Соллогуба [Соллогуб 1978], в которой, помимо главного героя Карла Шульца — одаренного юноши, умирающего из-за трагической любви, изображается также Бетховен. К образу немецкого композитора несколькими годами позже обращается В. Ф. Одоевский в цикле «Русские ночи». Причем в «Последнем квартете Бетховена» говорится также о молодой ученице композитора Луизе, содержавшей его под видом уроков в его последние дни [Одоевский 1975]. Все эти тексты формируют традицию, на которую опирался Тургенев, но, тем не менее, ни один из них не может расширить наше понимание образа музыканта в тургеневском романе.

В «Дворянском гнезде» Лемму противопоставляется светский дилетант Паншин. Это герой-подражатель, поведение и характер которого напоминают о «бытовом» романтизме 30-х — 40-х гг., описанном Л. Гинзбург в книге «О психологической прозе» [Гинзбург 1999]. Но образ Паншина более снижен, Тургенев описывает самоощущение Паншина с ироническим привлечением романтических штампов:

Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежащими к свету и вообще держался вольно и просто [Тургенев: VI. 15].

Жар, увлечение, восторженность — это романтические клише, присущие речи не самого автора, а позиции его героя. Ирония писателя при передаче этой позиции заключается в построении самого ряда, в котором *жар* и *восторженность*, как кульминационные состояния, объединяются с *некоторым увлечением*, граничащим с пассивностью. Кроме того, эти состояния духа интересуют дилетанта не сами по себе, а как средство, позволяющее совершать некоторые «чудачества», «приличные» для человека искусства. Неестественность пове-

дения Паншина подчеркивается следующим комментарием автора:

Но в душе он был холоден и хитр, и во время самого буйного ку-тежа его умный карий глазок все караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и ув-лечься вполне [Тургенев: VI. 15].

Эта характеристика героя, так же как и противопоставление профессионала дилетанту, отсылают к повести К. Н. Леонтьева «Благодарность», первоначально носившую название «Немцы». Во время написания повести (1852 г.) между ее автором и Тургеневым велась переписка по этому поводу [Летопись: 194; Леонтьев: I. 641]. Год спустя Леонтьев навестил писателя в Спасском, взяв с собой уже законченный текст «Немцев». Тургенев пытался содействовать его публикации, отправив письмо А. А. Краевскому. Несмотря на это, петербургская цензура не пропустила повесть Леонтьева, и, в итоге, она была напечатана годом позже. Тургенев отзывался о «Благодарности» положительно не только в официальных письмах к редактору «Отечественных записок», но и в переписке с П. В. Анненковым, носившей дружеский характер [Леонтьев: I. 641–642].

Главный герой «Немцев», Федор Федорович Ангст, — 47-летний преподаватель немецкого языка, талантливый, но не оцененный по справедливости. У него появляется конкурент в лице молодого учителя Лилиенфельда, стремящегося подражать героям немецких романтиков, что не мешает его житейскому практицизму:

Вильгельм Лилиенфельд был несколько мрачный мечтатель, с глубоким взглядом синих и подчас сверкающих глаз, с откинутыми назад темными волосами, с затаенной потребностью делить мечтания и чувства и с неправильными, но выразительными очертаниями лица... Он одевался со вкусом, любил бессознательно казаться интересным и невыразимо нежным голосом читал горячие стихи Шиллера о том пилигриме, который все рвался вдаль и никак не мог найти того, чего так жадно, так непрестанно искал... Но это не мешало ему усердно желать повышений и денег [Там же: 34].

Вскоре он получает учительское место Ангста, а затем в него влюбляется невеста прежнего учителя, который, не выдержав обрушившихся на него ударов, сходит с ума.

Противопоставление талантливого Ангста бездарному, но самонадеянному и изворотливому Лиlienфельду предвосхищает появление тургеневских героев, но сюжет повести Леонтьева — повествование о жизненных невзгодах героя — в тургеневском романе практически не отражается. Биография Лемма сжато передается в предьстории, утрачивается и присущая «Благодарности» мелодраматичность. Более того, антагонисты Паншин и Лемм оказываются противопоставлены по национальному признаку. Очевидно, этот источник, как и русская романтическая проза 1830-х – 40-х гг., все же не был для Тургенева первостепенным. Причины обращения писателя к образу немецкого романтика, по нашему мнению, лежали глубже и вытекали из его размышлений о роли искусства и о необходимости для художника быть профессионалом своего дела.

Во второй половине 1850-х гг. эта проблема становится для него особенно актуальной в связи с личностью и творческой деятельностью Л.Н. Толстого. Различие их убеждений по эстетическим вопросам обнаружилось практически сразу же после знакомства в 1855 г. В интеллектуальной утонченности Тургенева Толстой видел, прежде всего, «ненужную, затемняющую суть вещей риторику и фразу» [Лебедев: 306], тогда как Тургенев все время пытался культурно «развивать» своего оппонента.

Для Тургенева, считавшего искусство одной из главных ценностей, был неприемлем антиэстетизм Толстого. Любое проявление со стороны Толстого интереса к европейскому искусству писатель воспринимает с надеждой, что Толстой, наконец, прекратит свои «чуждачества» и всецело посвятит себя литературе [Тургенев 1960. Письма: III. 170]. Так, узнав, что тот начал читать Шекспира, Тургенев рекомендует ему целый список других сочинений английского драматурга [Там же: 76], а затем пишет Дружинину, что с Толстым «совершаются самые благодатные перемены — и я радуюсь этому «как нянька старая»» [Там же: 85]. Попытки Толстого заняться практи-

ческой деятельностью трактуются как отход от «истинного пути» — литературы, на который Тургенев стремится его вернуть:

...идите своей дорогой и пишите — только, разумеется, не Люцернскую морально-политическую проповедь <...> Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделали только литератором. Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу себе придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? [Тургенев 1960. Письма: III. 170].

В следующем письме от 17 (29) янв. 1858 г. Тургенев поясняет свою мысль:

Вы были бы правы, если б, предлагая Вам быть только литератором — я ограничил значение литератора одним лирическим щебетаньем; но в наше время не до птиц, распевающих на ветке. Я хотел только сказать, что всякому человеку следует, не переставая быть человеком, быть специалистом; специализм исключает дилетантизм <...>, — а дилетантом быть — значит быть бессильным [Там же: 187–188].

И сразу же вслед за этим заводит речь об «Альберте»:

...мне странно <...> почему Некрасов забраковал «Музыканта»; — что в нем ему не понравилось, сам ли музыкант, возящееся ли с собою лицо? Боткин заметил, что в лице самого музыканта недостает той привлекательной прелести, которая неразлучна с художественной силой в человеке; может быть, он прав; и для того, чтобы читатель почувствовал власть очарования, производимого музыкантом своими звуками — нужно было автору не ограничиться одним высказыванием этого очарования [Там же: 188].

Тургенев здесь намекал на контраст между несомненной одаренностью Альберта и его житейской пошлостью. По Толстому, в том, что Альберт талантлив, нет его заслуги — он человек страстей, и музыка — лишь одна из них. Эта страсть поразительно похожа на его пристрастие к вину («жадность наслаждения»), правда, последнее оказывается сильнее. Ради них он

готов на низкопоклонство¹³ и попрошайничество¹⁴, притом, «все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло» [Толстой: III. 39]. Тем не менее, именно его талант исполнителя способен влиять на души его слушателей, но эта способность стихийна, она — нечто вроде инстинкта, которому невозможно научиться. Иными словами, в рассказе Толстого, задолго до появления трактата «Что такое искусство?», проводится мысль о том, что искусство антиинтеллектуально и нацелено прежде всего на эмоции. Именно в этом заключался корень разногласий Толстого с Тургеневым, которые, с нашей точки зрения, отразились в образе Лемма — плохого исполнителя (sic!), но превосходного знатока музыки.

В самом деле, высказывание в письме к Толстому о профессионализме и дилетантизме, за которым следует размышление об «Альберте», в тот самый момент, когда идет работа над «Дворянским гнездом», позволяют взглянуть на образ тургеневского музыканта как на результат полемики с Толстым. Отчасти на рассказ Толстого намекают некоторые сюжетные ходы, например, Делесов, очарованный игрой Альберта, предлагает артисту переехать к себе; Лаврецкий же после прослушивания «Фридолина», положенного Леммом на музыку, приглашает его к себе погостить на несколько дней. Сцены дороги в обоих текстах прямо противоположны друг другу: если Альберт «грязно опьянел на воздухе», «повалился в угол кареты и захрапел» [Там же: 40], то Лемм заговорил с Лаврецким «о музыке, о Лизе, потом опять о музыке» [Тургенев: VI. 68]. По-

¹³ «этот господин <...> он не сын знаменитого N.? — Родной сын <...> — То-то,— самодовольно улыбаясь, сказал он,— я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует,— спросил он,— он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN., кажется?» [Толстой: III. 42–43].

¹⁴ «но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? <...> — Я ничего не имею... я бедный человек. Я не могу отдать вам» [Толстой: III. 39].

ведение Лемма, в данном случае, изображается по принципу «от противного» — на следующую ночь Делесов безуспешно пытается вывести Альберта на разговор о музыке, но тот способен отвечать лишь общими фразами, — тем самым подчеркивается профессионализм тургеневского музыканта. Различны также портреты героев — Альберт гораздо моложе Лемма, хотя и здесь есть некоторые переклички:

<p>узкая костлявая спина, длинная белая шея, кри- вые ноги и кос- матая черная го- лова представля- ли чудное, но почему-то, вовсе не смешное зре- лище [Толстой: III. 35].</p>	<p>Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом. Волосы висели ключьями над высоким лбом <...> Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музыкуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе [Тургенев: VI. 19–20].</p>
---	---

Однако оба героя преобразуются в момент творчества, причем близкой оказывается не только характеристика героев, но и описание «музыкальных экфрасисов»:

<p>Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу <...> Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; меня любит, она будет но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. <...> Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, всё его счастье. Он огля-</p>	<p>«Исчезни, прошедшее, темный призрак, — думал он <Лаврецкий>, — она» Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные, торжествующие звуки; он остановился: звуки загремели еще великопней; певучим, сильным потоком струились они, — и в них, каложный или неумеренный звук не залось, говорило и пело Он огля-</p>
---	---

все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. <...> То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. <...> Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения. <...> и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. <...> Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробегал вверх по спине, что-то, все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и нёбе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-
нулся: звуки неслись из двух верхних окон большого дома. <...> Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке, с раскрытой грудью и распрепанными волосами, показалась в окне. <...> Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лемму; но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушать»; сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотой, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолодевший и бледный от восторга. Эти звуки так и впились в

то странному сцеплению впечатлений первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он — немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно-красивым, блаженно-глупым и бессознательно-счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кухне в розовом платье, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала она в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. <...> Он с наслаждением созерцал их и плакал <...> Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «**Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени,— это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя**». К концу последней варьяции лицо Альберта сделалось красно, глаза горели не потухая, крупные капли пота струились по щекам. <...> Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с **улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих**. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложи-

его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него **орлиный взор**, постучал рукой по груди и, проговорив, не спеша, на родном своем языке: «**Это я сделал, ибо я великий музыкант**», — снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей; свет поднявшейся луны косо падал в окна; звонко трепетал чуткий воздух; **маленькая, бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика**. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лемм не отвечал на его объятие, даже отклонил его локтем; долго, не шевелясь ни одним членом, глядел он всё так же строго, почти грубо, и только раза два промычал: «ага!» Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он, в ответ на горячие поздравления Лаврецкого, сперва улыбнулся немного, потом **заплакал, слабо**

лись, глаза потухли, и он, как бы сты- всхлипывая, как дитя дясь себя, робко оглядываясь и пу- [Тургенев: VI. 106–107]. таясь ногами, прошел в другую комнату [Толстой: III. 34–36].

В отличие от Делесова, вспоминающего под воздействием музыки утраченную любовь, мелодия Лемма служит для Лаврецкого залогом его будущего счастья, однако очевидная проекция на «Альберта» предсказывает трагическое расставание героев. А строки, в которых говорится о безвозвратности прежнего счастья для Делесова и о его безрадостном настоящем: «прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени,— это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя» — как бы предвосхищают финал тургеневского романа: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» [Тургенев: VI. 158].

Как видно, Тургенев в своем романе не только полемизировал с идеей «стихийной» одаренности, противопоставляя ей профессионализм, но и учел некоторые находки Толстого: во-первых, это касается «музыкальных экфрасисов», отсутствовавших в его прежнем творчестве¹⁵, во-вторых же, полемически переосмыслив характер Альберта в образе Лемма, Тургенев сохранил сам толстовский принцип, по которому этот образ был сконструирован: противопоставление между «культурной» и «бытовой» ипостасью героя.

Как бы следуя за своей мыслью: «для того, чтобы читатель почувствовал власть очарования, производимого музыкантом своими звуками — нужно <...> не ограничиваться одним высказыванием этого очарования [Тургенев 1960. Письма: III. 188]», Тургенев в образе Лемма смягчает этот контраст. Но тем не менее, в некоторых фрагментах проскальзывает авторская ирония («бедный музыкус», передача его искаженной русской речи), касающаяся, прежде всего, бытовых характери-

¹⁵ Позднее он почти дословно воспроизведет это описание в повести «Несчастливая» [Тургенев: VIII. 79].

стик Лемма. А далее это противопоставление подчеркивается в сценах двух ночей, когда Лаврецкий приходит к дому музыканта. На следующую ночь после того, как Лемм играет свое сочинение Лаврецкому, тот вновь приходит к нему, и этот эпизод изображается, очевидно, не без учета «Альберта»:

— **Нет, не могу играть нынче**, — ска- му. Долго он не мог достучаться; наконец в зал он, кладя скрипку, — **я много пил**. кислая, сморщенная, уже нисколько не по- Но вслед за тем он по- хожая на ту вдохновенно суровую голову, дошел к столу, налил которая, двадцать четыре часа тому назад, себе полный стакан со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. — **Что вам надо?** — **спросил Лемм, — я не могу каждую ночь играть, я декокт принял** [Тургенев: VI. 117].

Тургенев сглаживает беспощадную характеристику Толстого, но вместо этого снабжает своего героя традиционными качествами «русского немца». Несмотря на то, что Альберт также немец, о его национальной принадлежности практически ничего не говорится, на нее указывает лишь имя героя, немецкое евангелие, которое дает ему Делесов, а затем цитируемые им строки Вебера. Национальность же Лемма упоминается неоднократно, часто она становится предметом иронии других персонажей, и эта маркированность его идентичности нуждается в пояснении.

Именно как «русского немца» воспринимает Лемма дилетант Паншин. Его германофобия обозначается уже в предыстории:

Он говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно хорошо говорить по-немецки; но пускать в ход германское слово в некоторых, большей частью забавных случаях — можно, *c'est même très chic*, как выражаются петербургские парижане [Тургенев: VI. 14].

а затем в его признании Лизе: «от молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить». Очевидно, причины антинемецкой позиции этого героя заключаются не только в его светскости и традиционном противопоставлении французского остроумия тяжеловесности немецкой науки — с нашей точки зрения, они парадоксальным образом вытекают из его идеологической позиции. Паншин — западник, пренебрежительно относящийся к немцам. Чтобы понять это противоречие, необходимо обратиться к идеологическому фону второй половины 1850-х гг.

Ю. Лебедев в своей работе о Тургеневе осторожно предположил, что в «Дворянском гнезде» Тургенев мог отразить воззрения Б. Н. Чичерина, высказанные им в статьях «Об аристократии, в особенности русской» и «Современные задачи русской жизни» [Лебедев: 343–346]. Развивая идеи Чаадаева в статье «Современные задачи русской жизни», автор утверждал:

Нет в Европе народа, у которого бы общественный дух был так мало развит, как у русских; каждый живет себе особняком, и никому дела нет до общих потребностей и интересов... Русский человек обладает характером более пассивным, нежели деятельным. Но это самое делает его с другой стороны чрезвычайно способным перенять чужое, когда его раз заставят выйти из обычной колеи, он может так же легко и в такой же крайности подчиняться новизне, как он прежде упорно держался старины. Не мудрено, что при таких условиях он не развил из себя разнообразного исторического содержания, не выработал человеческих начал — науки, искусства, промышленности, изящества нравов. Этому способствовало и удаление его от римского мира, передавшего Западным народам вековые стяжания древней истории [Чичерин: 55].

Но горечь автора по поводу неразвитости России и простого народа в отдельных фрагментах его статьи граничит с высокомерием:

Русский народ не слагается из отдельных частей, живущих своей самостоятельной жизнью и носящих каждая свой особенный отпечаток; он составляет более или менее однообразную массу, разлитую по всему пространству и не имеющую слишком резких различий в своих частях [Там же].

Тургенев, у которого статья вызвала несогласие [Лебедев: 343, 346], очевидно, на самом деле, отразил в образе Паншина позицию Чичерина и других западников-консерваторов. Попытаемся дополнить наблюдение Лебедева, чтобы выяснить причины германофобии Паншина.

Начало правления Александра II сопровождалось патриотическим подъемом в мыслящей части русского общества. Готовящаяся крестьянская реформа воспринималась как событие, которое сделает Россию равной Европе и позволит ей развиваться уже без оглядки на западные образцы. Мнение о том, что в России, вследствие отмены крепостного права, сложится уникальная социальная система, связывалось с идеей крестьянской общины, которая интенсивно обсуждалась на страницах печатных органов самых разных направлений. Этот путь представлялся не только наиболее уместным в русских условиях, по сравнению с той государственностью, которая сформировалась в Европе, — Россия теперь должна была предстать перед Европой как образец для подражания. Эта точка зрения проводилась как славянофилами, так и западниками, спешившими отказаться от своих прежних «учителей». По всей видимости, именно эта черта отразилась в характеристике тургеньевского героя.

Западники — как радикального, так и либерального толка спешили примириться со своими прежними оппонентами. Практически единодушным в западническом дискурсе конца 1850-х гг. было стремление развенчать прежний кумир — Европу:

Не оправдывая всего того, что говорят даже лучшие представители славянофильства, человек, любящий родину и принимающий выводы науки на Западе, должен, однако же, сказать, что столь общее отрицание всякой справедливости в славянофильстве неосновательно, должен признать, что из элементов, входящих в систему этого образа мыслей, многие положительно одинаковы с идеями, до которых достигла наука или к которым привел лучших людей исторический опыт в Западной Европе [Чернышевский 1986: 58].

Чернышевский в статье «“Русская беседа” и славянофильство» перечисляет различные социальные бедствия, которым подвергается население европейских стран, и замечает, что позиция славянофилов имеет под собой основания. Помимо социальной неустроенности, его критике подвергается состояние интеллектуальной жизни на Западе:

Правда, наука сделала великие успехи, но еще слишком мало имеет влияния на жизнь. Большинство не только народа, но даже образованных классов, погружено еще в дикие понятия, свойственные скорее временам кулачного права, нежели веку цивилизации. Когда лучшие люди в Западной Европе сравнивают образ мыслей огромного большинства своих сограждан с гуманными идеями современной науки, они приходят в отчаяние, видя, что несомненнейшие умственные и нравственные истины ее, достоверные, как аксиомы геометрии, ясные, кажется, как свет дневной, остаются еще неведомы или непоняты никем, кроме горсти немногих избранных, еще бессильных над нравами и стремлениями общества, по своей малочисленности [Чернышевский 1986: 59–60].

Логика этого отказа от прежних ценностей разъясняется в вышедшей двумя годами позже статье Герцена «Русские немцы и немецкие русские»:

...при Николае Запад становился нам дорог как запрещенный плод, как средство оппозиции... То ли время теперь? Мы столетием отделены от него. И мы и Европа совсем не те, и мы и Европа стоим у какого-то предела, и мы и она коснулись черты, которой оканчивается том истории. <...> Тогда, униженные, забитые Николаем, и мы верили в западный быт, и мы тянулись к нему. Теперь — Запад пошатнулся; мы вышли из оцепенения; мы рвемся куда-то, он стремится удержаться на месте. Черта, до которой мы дошли, значит, что мы кончили ученическое подражание, что нам следует выходить из петровской школы, становиться на свои ноги и не твердить больше чужих задов [Герцен 1958: 288–289].

На фоне роста патриотизма распространяется идея «немецкого засилья». В радикальных кругах прежние беды России напрямую приписывались немецкому влиянию — подчеркивалось немецкое происхождение Николая и многих стоящих у власти

чиновников. С ними связываются опасения, что они смогут повлиять на Александра и заставить его отказаться от намеченного либерального курса: «Они дельнее барства, они честнее чиновничества, оттого-то мы и боимся их; они собьют с толку императора, который стоит беспомощно, и шаткое, едва складывающееся общественное мнение» [Герцен 1958: 303]. Миф о «немецкой интриге» циркулировал и в либеральной среде. Он распространялся не только на немцев, стоящих у власти, но и на простых обрусевших немцев, в которых видели лишь подданных, ищущих личных выгод, равнодушных к проблемам русской нации. Именно с этим представлением связано усилившееся в эти годы «преследование» в русских журналах литераторов немецкого происхождения, красноречивым примером которого служит эпиграмма Н. Ф. Щербины «Бергу и другим немцам-славянофилам»:

Тепленько немцам у славян —
И немцы все славянофилы:
Немудрено, что наш кафтан
И мурмолка их сердцу милы...
Несли мы, Берг, почти что век
Опеку немцев не по силам...
Я слишком русский человек,
Чтоб сделаться славянофилом (цит. по: [Rogov: 552–553]).

Дискредитация славянофильства здесь вытекает из сложного и противоречивого отношения Щербины к его представителям и связана с непростым характером поэта, поэтому, в данном случае, она сама по себе для нас не столь существенна. Гораздо важнее, что в своей эпиграмме он воспроизводит идею «немецкого засилья», перенося ее в область русской культуры. Таким образом, немцы, жаждущие выгод, не только занимают государственные посты, но и стремятся внедриться в культурную жизнь России. По аналогии с «вековой немецкой опекой», такое внедрение, с точки зрения автора (патриота малороссийского происхождения), губительно для России.

Опасения Щербины и других русских патриотов не были безосновательными — действительно, русские немцы были представлены на всех уровнях российского общества, и мно-

гие из них, демонстрируя лояльность русскому правительству, стремились к собственным целям. Однако для нас важнее та мифология, которой обрастает «немецкая проблема». С нашей точки зрения, именно она помогает прояснить национальную проблематику тургеневского романа.

Скрытое несогласие с антинемецким нарративом прослеживается уже в описании биографии Лемма — он едет в Россию исключительно ради достижения материального благополучия, но при этом не стремится к обрусению и собирается вернуться на родину, как только добьется своей цели. За долгие годы скитаний он плохо выучил русский язык и не стремился завоевать места в русском обществе, т. к. Россия ему «ненавистна» [Тургенев: VI. 19]. Тем не менее, неприязнь Лемма к России оценивается как достоинство — низкое социальное положение говорит о его принципиальности и отсутствии способности обманом достигать желаемого, т. е. неспособности к той «интриге», в которой практически единодушно обвинялись немцы в это время. Образ Лемма, конечно, не был лишь полемическим откликом на антинемецкие настроения — с нашей точки зрения, он более тесно связан с общей концепцией романа.

Тургенев не меньше остальных его современников волновал вопрос о будущем России после отмены крепостного права. Главным в связи с ожидаемыми переменами был вопрос о типе деятеля в обновленной России. Видимо, в этом заключается причина скептического отношения Тургенева к идее крестьянской общины. Речь шла, фактически, о вымирании дворянства как класса (особенно у радикалов), и с этой позицией Тургенев не мог примириться. По мнению писателя, дворянство и в дальнейшем должно было играть активную роль и руководить процессом эмансипации крестьян. В «Дворянском гнезде» он попытался представить свою концепцию деятеля-дворянина, которая вобрала в себя его размышления о русском характере в произведениях 1850-х гг.

Лаврецкий, унаследовавший от матери-крестьянки свои «русские» качества, в то же время органически связан с европейской культурой. Его воззрения на Россию не сводятся к

славянофильству — перед нами тип русского европейца и патриота, у которого восхищение европейской культурой сочетается с привязанностью к России. В этом отношении показателен и образ Лизы Калитиной: ее учителями становятся, с одной стороны, крепостная Агафья, с другой, — Лемм. История любви Лаврецкого и Лизы сопровождается постоянными упоминаниями об этом персонаже. Его неудавшийся роман символически соотносится с неопределенностью зарождающегося чувства между главными героями. Но уже после того, как происходит объяснение Лаврецкого и Лизы, главный герой слышит музыку, передающую его эмоциональное состояние. Таким образом, на протяжении всего романа утверждается неразрывная связь русских героев с немецким искусством, символом которого становится образ Лемма. Ему в «Дворянском гнезде» отводится исключительная роль — немецкое искусство, с точки зрения Тургенева, стало неотъемлемой частью личности русского дворянина, а точнее, — интеллектуала 1840-х гг., которому предстоит действовать в пореформенной России. Цель этой деятельности будет заключаться в сближении с народом и руководстве им на пути к цивилизации («пахать землю», в терминологии Лаврецкого). Но без немецкого культурного наследия русская интеллигенция немислима, поэтому пренебрежение к немецким «учителям» кажется писателю неоправданным отказом от собственной идентичности. И именно поэтому в образе германофоба Паншина подчеркивается неопределенность его культурной идентичности (ср. его галломанию и пренебрежительное отношение к русским крестьянам).

Эта концепция становится итогом эволюции тургеневского отношения к немецкой культуре на протяжении 1840-х — 1850-х гг., повлиявшей на образы немецких наставников в его творчестве этого периода. Эта эволюция состояла из нескольких стадий:

- 1) полемическое осмысление немецкого искусства и философии в юности;
- 2) утверждение немецкой культуры на фоне конкуренции с новым поколением литераторов, но ирония по отношению

к «русским немцам», возникающая на фоне крымских событий и распространившейся в Европе русофобии.

3) концепция «русского европейца», органически усвоившего немецкое культурное наследие, которая утверждалась на фоне полемики с Толстым и роста русского национализма в 1850-х гг. Романом «Дворянское гнездо» завершается тургеневское повествование о немецких «учителях». Уже в 1860-е гг. эта тема становится менее актуальной как в связи с новым статусом России, ставшей после отмены крепостного права, по версии русских патриотов, «наравне с Европой», так и в результате процесса объединения Германии, спровоцировавшего мощный антинемецкий дискурс в России и других европейских странах.

Концепция Германии как «оплота цивилизации» в поздней прозе Тургенева vs русский патриотический дискурс 1860–1870-х гг.

А. Образы немцев в произведениях Тургенева 1860-х гг.: западничество vs панславизм

После публикации романа «Дворянское гнездо», встреченного всеобщим энтузиазмом, Тургенев сталкивается с рядом неприятностей, подкосивших его литературный и личный авторитет в русской среде. Происходит его разрыв с «Современником», писатель болезненно воспринимает неблагоприятные критические отзывы о романе «Накануне», а затем бурную полемику вокруг «Отцов и детей». В мае 1862 г. Тургенев становится свидетелем пожара, истребившего Апраксин двор и, понимая, с одной стороны, что за поджогами последует правительственная реакция, а с другой — опасаясь революции, вскоре отправляется в Париж. Там его застает вызов в Сенат по «Делу 32-х», а затем известия о польском восстании. Подозрения правительства в сговоре с «лондонскими пропагандистами» заставили Тургенева всерьез задуматься об эмиграции. В России распространяется слух о том, что он так и намеревается поступить, его упрекают в том, что он своей неявкой

отягощает положение других обвиняемых. После посещения Сената в начале 1864 г. обвинения с Тургенева полностью снимаются, что приводит к сплетне о его «покаянии» или «доносе». В результате у писателя портятся и без того не гладкие в этот период отношения с Герценом.

Если обобщить, Тургенев переживает глобальное разочарование — в непоследовательности реформ, в русской литературе и публике, в своих прежних друзьях и т. д. Следствием этого становится его переезд в Германию, который в это время представлялся самому Тургеневу обретением собственного «гнезда», «спасением» от русского «хаоса». Традиционное для русской культуры представление о хаотичном русском и организованном европейском началах, было особенно распространено в 1840-е гг. Тогда Тургенев обозначил свою позицию в повести «Бретер» (1847).

Основной пафос этого произведения современники увидели в разоблачении «печоринского» типа. Главный герой повести — офицер Авдей Лучков, за которым укрепилась репутация необыкновенного человека. Однако за его внешней таинственностью скрываются невежество и грубость. Он сближается с русским немцем Кистером — начитанным, тактичным, но наивным юношей. У них происходит конфликт из-за дочери соседнего помещика Маши, в результате которого Лучков убивает Кистера на дуэли.

Сословная принадлежность Кистера (он — русский дворянин) свидетельствует о его обруселости, которая косвенно подтверждается в описании его семейства, где не приводится никаких этнических характеристик. Вместе с тем, он владеет немецким и переводит Шиллера и Клейста, что, однако, может объясняться его образованностью, поэтому акцент на происхождении Кистера оказывается, на первый взгляд, немотивированным. Л. В. Пумпянский обратил внимание на то, что герои «Бретёра» — восходят к образам Онегина и Ленского [Пумпянский: 443], и в этой связи происхождение Кистера можно объяснить как реализацию намеченной Пушкиным линии: Ленский — русский, но «с душою прямо геттингенской», а провинциальные помещики видят в нем «полурусского сосе-

да». К такому выводу подталкивают многочисленные аллюзии на роман в стихах [Киселева, Фомина: 2011], однако этот вывод все же не является исчерпывающим. Критическое осмысление предшествующей литературной традиции, несомненно, было чрезвычайно актуально для Тургенева в «Бретере», тем не менее, ни пушкинский, ни лермонтовский подтексты не дают ответа на вопрос, почему Кистер изображается немцем.

Кистер — наивен и даже простоват, но при всей авторской иронии к этому образу, он изображается в гораздо более выгодном свете, чем его русский товарищ Лучков. Уже безо всякой иронии Тургенев говорит о его образованности, чувстве такта и душевной мягкости, даже его «немецкая» аккуратность оценивается положительно. Лучков же представляет собой редкий у Тургенева тип персонажа, вовсе лишённого положительных черт. В нем подчеркиваются невежество, грубость, неестественность поведения и неограниченное самолюбие. И этот контраст характеров, к тому же противопоставленных друг другу по национальному признаку, в 1840-х гг. уже не мог отсылать только к персонажной схеме «Евгения Онегина», но неизбежно актуализировал идеологический фон этого времени. О том, что этническая принадлежность героев «Бретера» не является простой условностью, косвенно свидетельствует имя заглавного героя — Авдей. Лучков — дворянин, но простонародное имя намекает на его близость к национальным началам. В этой связи столь негативная трактовка русского характера и сдержанно-положительная оценка немецкого, очевидно, были полемическим выпадом против необоснованной идеализации русского человека славянофилами и попыткой отстоять европейские ценности.

В 1860-е гг. противопоставление немецкой цивилизованности русскому хаосу наполняется новым смыслом не только для Тургенева, но и для всей русской общественности. В этой связи примечателен рассказ «История лейтенанта Ергунова» (1867), художественная концепция которого пересекается с германофильскими идеями, высказанными в «Бретере». Несмотря на пестроту этнических типажей, этот рассказ с детективным сюжетом, на первый взгляд, далек от современной на-

циональной проблематики. Создает это впечатление неопределенность этнических характеристик героев. Действие разворачивается в причерноморском городе, простодушный и интеллектуально не обремененный офицер Ергунов, который, как и Кистер, назван «красной девицей» и, к тому же, является крестником русского немца, сближается с немкой Эмилией — девушкой сомнительной нравственности. Он становится частым гостем в ее доме — как оказывается впоследствии, воровском притоне. Вместе с Эмилией живет ее, якобы, тетка, но на самом деле — сообщница, еврейка Фритче и аферисты Луиджи и Колибри, за знакомство с которыми Ергунов чуть не заплатил жизнью. Опоив его зельем и подвергнув гипнозу, преступники обокрали его и попытались убить. Луиджи — цыган с итальянским именем, прибывший из Бухареста вместе с Колибри, обладающей восточной внешностью. Она говорит с польским акцентом, но отказывается от подаренного Ергуновым креста. Он предполагает ее еврейство, но далее Тургенев намекает на то, что Колибри — турчанка¹⁶.

Немногочисленные рецензенты с некоторым недоумением обращали внимание на неактуальный, с их точки зрения, сюжет и концептуальную размытость рассказа («пустой и старый анекдот» [Тургенев: VIII. 430]). Действительно, «История» написана в гоголевской манере, ее сюжет явно проецируется на лермонтовскую «Тамань» [Новикова: 194; Фомина, 2011а: 49–52]. Ср. описание «честных контрабандистов»: «В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется» [Лермонтов: IV. 227]; «слепой говорил со мною мало-российским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски» [Там же: 228]; «Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глухая, не слышит <...> Старуха на этот раз услышала и стала ворчать» [Там же: 229–230]; у Янко, которого слепой

¹⁶ Ср. портрет турка, который Ергунов замечает в свое первое посещение. Далее она представляется ему турчанкой в его бредовых видениях. И, наконец, Эмилия сообщает, что Колибри вместе с Луиджи прибыла из Бухареста. Румыния в то время существовала как вассальное государство Османской империи.

называет крымским татарин, славянское имя, а рассказчик замечает в его облике малороссийские черты — «человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казацки, и за ремненным поясом его торчал большой нож».

Однако переделка «старого анекдота», в данном случае — лермонтовской «Тамани», — не входила в задачи Тургенева. Очевидно, писатель воспользовался лермонтовским приемом для того, чтобы специально «затушевать» идеологическую составляющую рассказа. Это представляется тем более вероятным, что создание первого варианта «Истории», по словам самого Тургенева, отнявшей у него много сил [Тургенев: VIII. 425], шло одновременно с работой над романом «Дым», в котором национальные вопросы играют ключевую роль. Писатель достаточно высоко оценивал этот рассказ и был разочарован прохладным приемом русской публики. По всей вероятности, несовпадение между мнениями автора и читателей было вызвано как раз излишней предосторожностью писателя, после провала «Дыма» намеренно скрывшего национальную проблематику рассказа за многочисленными наслоениями этнических характеристик.

В самом деле, если отбросить эту двойственность героев, концепция рассказа становится более прозрачной. Русский герой поочередно попадает под влияние двух начал — «светлого», которое олицетворяет по-своему просвещенная немка Эмилия, и восточного — «темного» и разрушительного. Чтобы избежать ненужных ассоциаций с романтическими сюжетами, эта коллизия разворачивается на сниженном «материале»:

Кузьма Васильевич в этот раз гораздо больше хлопотал о своей наружности, чем когда шел на свидание с “Zuckerpüppchen”¹⁷, не

¹⁷ Немки у Тургенева, как правило, изображаются легкомысленными, причем их возраст не играет роли. Это качество может расцениваться как вполне невинное у молодых героинь (ср. фрейлейн Фридерике в повести «Яков Пасынков» или инфантильную Зою Никитичну Мюллер в романе «Накануне») и трактоваться более негативно, если речь идет о зрелом возрасте (ср. образ штаб-офицерши Лизаветы Прохоровны Кунце, родом из Миттавы, в рас-

потому, что Колибри ему больше нравилась, чем Эмилия, но в «игрушечке» было нечто загадочное, нечто такое, что невольно возбуждало даже то ленивое воображение, каким обладал молодой лейтенант [Тургенев: VIII. 27].

Пассивный герой отдается «восточному» началу, в результате чего погружается в полный хаос (сцена бреда) и едва ли не расстается с жизнью. Этот сюжет, с нашей точки зрения, вытекал из размышлений самого Тургенева о хаотичности современной русской жизни, противопоставленной европейской цивилизации, ставшей для него в этот период одной из важнейших ценностей.

Эти размышления в полной мере отразились в романе «Дым» (1867). Многие свои мысли Тургенев адресовал западнику и, как явствует уже из имени, «подлинно русскому» герою — Созонту Потугину. В монологе Потугина Европа противопоставляется России, на первый взгляд, вполне в духе западнических идей 1840-х гг.: «Я предан Европе, то есть, говоря точнее, я предан образованности, цивилизации ... Это слово: ци-ви-ли-зация ... — и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут...» [Турге-

сказе «Постоялый двор», продавшей постоялый двор без ведома его владельца аферисту Науму из-за его внешней привлекательности; навестивший ее брат — армейский пехотный офицер, «до того разбуянился, что чуть не прибил самой хозяйки, назвав ее притом: “Дц, Lumpen-mamselle” [Тургенев: IV. 279]; в образе Каллиопы Карловны в «Дворянском гнезде» — матери Варвары Павловны, у которой постоянно слезится левый глаз и поэтому она сама себя считает чувствительной, — легкомыслие приравнивается к глупости и духовной пустоте: она влюбляется в своего мужа, женившегося на ней по расчету, из-за его хореографических способностей; к этой группе следует добавить и любовницу Стахова Августину Христиановну — вдову немецкого происхождения. Генеалогии этих образов еще предстоит установить. Отметим лишь, что Тургенев был не единственным писателем, изображавшим немок в таком ключе — ср. у Достоевского образ содержательницы бордели Лавизу Ивановну в «Преступлении и наказании».

нев: VII. 275]. По справедливому замечанию О. Майоровой, Потугин, однако, подразумевает современную ситуацию, к которой отсылает образ крови — его мишенью становятся воинственные фразы, которыми изобиловала правая печать и верноподданнические письма царю после подавления польского восстания [Майорова: 359–360]. Добавим, что в речи этого героя перефразируются строки из стихотворения Лермонтова «Родина»: «Люблю отчизну я, но странною любовью! / Не победит ее рассудок мой. / Ни **слава, купленная кровью**, / Ни полный гордого доверия покой, / Ни темной старины заветные преданья / Не шевелят во мне отрадного мечтанья» [Лермонтов: I. 460]. Лермонтовский претекст в данном случае позволяет реконструировать сложную точку зрения героя на Россию.

Известно, что воззрения Потугина были близки позиции самого Тургенева. Это было очевидно для современников, обвинивших писателя в отсутствии патриотизма и оскорблении их национальных чувств. После публикации «Дыма» на него обрушился шквал статей и эпиграмм, в которых констатировался закат его творчества, высмеивались длительное пребывание писателя за границей, обстоятельства его личной жизни и т. д. Мнения об упадке тургеневского таланта были обусловлены не столько особенностями поэтики «Дыма», отличавшегося от прежних романов Тургенева, сколько его идеологической направленностью. Пренебрежительные реплики Потугина о России воспринимались тем более остро, что на их фоне утверждалось превосходство немцев: «у последнего немецкого флейтщика больше идей, чем у русского самородка»; даже немецкий кельнер смеется “über diese Russen”¹⁸ и т. д.

¹⁸ Но подчеркнем, что эта оценка касается только немцев, проживающих в Германии, тогда как русские немцы по-прежнему оцениваются негативно: двоюродный дядя Ирины, граф Рейзенбах — вельможа из остзейских немцев, который забирает ее с собой в Петербург из карьерных соображений, рассчитывая на то, что, благодаря ей, ему удастся завязать выгодные знакомства в свете.

Именно это вызвало сильное раздражение Достоевского, навестившего Тургенева в Бадене вскоре после публикации романа:

Между прочим Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая — это цивилизация и что все попытки русизма и самостоятельности — свинство и глупость <...> Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. — Для чего? — спросил он. — Отсюда далеко, — отвечал я; — Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно рассердился [Достоевский: XV. 317].

Достоевский, в течение этого разговора, умело провоцировал Тургенева. Якобы «совсем без намерения, к слову», он высказывает все, что «накопилось в три месяца в душе от немцев»:

«Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!» Он побледнел (буквально, ничего, ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: «Говоря так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!» [Там же].

Когда Тургенев узнал, что Майков показал письмо Достоевского П. И. Бартеневу, издателю «Русского архива», он написал в этот журнал официальное письмо, в котором, опровергая «приписанные» ему Достоевским «мнения возмутительные и нелепые о России и русских», говорил:

Я вынужденным нахожусь объявить с своей стороны, что выражать свои задушевные убеждения перед г. Достоевским я уже потому полагал бы неуместным, что считаю его за человека, вследствие болезненных припадков и других причин, не вполне обладающего умственными способностями; впрочем, это мнение мое разделяется многими другими лицами. Виделся я с г-ном Достоевским, как уже сказано, всего один раз. Он высидел у меня не более часа и, облегчив свое сердце жестокою бранью против немцев, против меня и против моей последней книги, удалил-

ся. <...> Вероятно, расстроенному его воображению представились те доводы, которые он предполагал услышать от меня, и он написал на меня свое... донесение потомству [Тургенев 1960. Письма: VII. 17].

Анализ сложного отношения Тургенева к России в этот период не является в данный момент нашей первостепенной задачей, поэтому разрыв с Достоевским интересует нас не с точки зрения наличия/отсутствия у Тургенева патриотических чувств. Мы считаем, что причины германофобии Достоевского и «немецкой» идентичности Тургенева в этот период лежали гораздо глубже. Ссора между писателями была следствием мощного антинемецкого дискурса, возникающего в России после великих реформ.

Как показала в своей статье “Die Schlüsselrolle der deutschen Frage” О. Майорова, проблема «русских немцев», активно обсуждавшаяся в конце 1850-х гг., после отмены крепостного права становится одним из ключевых вопросов эпохи [Майорова]. Как уже говорилось во введении, в публицистике того времени речь шла о необходимости формирования государственности нового типа, которая основывалась бы на национальном, а не династическом принципе. Немцам при этом отводилась роль пришедших извне цивилизаторов, препятствующих естественному национальному развитию. После польского восстания, в ходе консолидационных процессов в Германии, антинемецкий дискурс начинает работать на полную мощь. В этой накаленной обстановке у Достоевского, и прежде нелепно отзывавшегося о немцах, возникает настоящая ксенофобия, подогреваемая его верой в национальную исключительность русских. Тургенев же, наблюдавший происходящее в России патриотическое брожение со стороны, будучи в немецкой среде, приходит к противоположным выводам и высказывает их — сначала в «Дыме», а затем в разговоре с автором «Бесов».

Как показала О. Майорова, миф о «немецкой интриге» был выгоден русским патриотам — немецкая угроза, якобы нависшая над Россией, объединяла русских с остальными славянами. Панславизм, в той или иной мере свойственный пред-

ставителям самых разных общественных течений — от западников-радикалов до ультрапатриотических консерваторов, — превращал русских из угнетателей поляков в жертву немцев [Маюрова: 96–97]. Это воззрение, подменяющее факты, стало лейтмотивом Славянского съезда 1867 г., а также статей К. С. Аксакова и публикуемой в это время в журналах книги Данилевского «Россия и Европа» [Данилевский 1991].

Тургенев, находясь в Бадене, наблюдал за всем этим со стороны. Патриотическая риторика, утверждающая славянское превосходство над немцами, вызывала у писателя стойкое неприятие. Критика панславистских воззрений отразилась в последовавшей за «Дымом» повести Тургенева «Несчастливая» (1869).

Проблема национальной идентичности играет в «Несчастной» особую роль. Повесть начинается с описания встречи рассказчика с Фустовым — одаренным молодым человеком немецкого происхождения. Через него повествователь знакомится с Ратчем — немецкоязычным чехом и русским патриотом, женатым на немке. Вместе с ними живет падчерица Ратча и возлюбленная Фустова, еврейка Сусанна, которая, не выдержав жизни в доме отчима и малодушия Фустова, совершает самоубийство.

Брошенное вскользь упоминание о том, что бабка Фустова была из немцев, служит мотивировкой его умеренности и аккуратности. Ту же функцию выполняет и намек на пушкинского Германна, и измененная цитата из «Пиковой дамы»: «Излишних забот о здоровье тела он не допускал, но не забывал необходимых <...> («Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись!» — было его девизом)» [Тургенев: VIII. 65]. Ср. слова Германна: «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее <...> расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!» — [Пушкин: VI, 219]).

Упоминание о немецких корнях Фустова имеет и биографический подтекст. Согласимся с Л. М. Лотман, полагавшей, что во взаимоотношениях Сусанны и Фустова отразилась тра-

гическая история Фета и Марии Лазич, которая, по мнению Фета, покончила с собой из-за того, что он на ней не женился. Намеки на биографию Фета содержатся и в изображении детства незаконнорожденной Сусанны, чуждой своему окружению из-за ее еврейского происхождения [Лотман 1977: 25–47].

Однако национальную принадлежность отчима Сусанны — Ратча уже нельзя объяснить чисто литературными или биографическими причинами. Его русофильство постоянно вступает в противоречие с его нерусским происхождением, и этот контраст акцентируется с помощью речевых характеристик. Ратч — любитель просторечных оборотов и сильных выражений, которые употребляет не к месту. В своей цели — стать похожим на русского, — он слишком усердствует и в этом отношении противопоставляется своей практичной супруге Элеоноре Карповне:

...не только сама хозяйка казалась образцом чистоты, но и всё вокруг нее, всё в доме так и лоснилось, так и блистало; <...> салфетки так и коробились от крахмала, так же как и платьица тут же сидевших четырех детей г. Ратча, дюжих, откормленных коротышек, чрезвычайно похожих на мать, с топорными крепкими лицами, вихрами на висках и красными обрубками пальцев. У всех четырех были носы несколько приплюснутые, большие, словно припухшие губы и крошечные светло-серые глаза. — Вот и моя гвардия! — воскликнул г. Ратч, кладя свою тяжелую руку поочередно на головы детей. — Коля, Оля, Сашка да Машка! Этому восемь, этой семь, этому четыре, а этой целых два! Ха-ха-ха! Как изволите видеть, мы с женой не зеваем. Эге? Элеонора Карповна! <...> И писклятам своим всё такие русские имена подавала! — продолжал г. Ратч. — Того и смотри, в греческую веру их окрестит! Ей-богу! Славянка она у меня, чёрт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка? Элеонора Карповна рассердилась. — Я надворная советница, вот кто я! И, стало быть, я русская дама, и всё, что вы теперь будете говорить... — То есть как она Россию любит, просто беда! — перебил Иван Демьяныч. — Вроде землетрясения, ха-ха! — Ну, и что ж такое? — продолжала Элеонора Карповна. — И, конечно, я Россию люблю, потому где же бы я могла получить дворянский титул? И мои дети тоже теперь ведь благородные? Kolia, sitze ruhig mit den Füßen! [Тургенев: VIII. 69]

Ратч, в отличие от своей жены, которая считает, что она должна быть благодарна России за предоставленное дворянство, но при этом не отказывается от родного языка, демонстрирует полную беспринципность. Эта особенность сближает его с «немцами-славянофилами», о которых мы упоминали в связи с «Дворянским гнездом». Однако отклик на ажиотаж вокруг русских патриотов немецкого происхождения десятилетней давности выглядит несколько запоздалым, более того, Ратч — чех, поэтому, очевидно, этот образ имел иные источники.

В 60-е гг. начинают выходить мемуары Н. И. Греча «Записки о моей жизни», о котором Тургенев в своих письмах отзывался крайне презрительно. Греч, как и Ратч (заметим, что обе фамилии близки фонетически) — русский патриот чешско-немецкого происхождения, в своих «Записках» он немало внимания уделил немцам, впрочем, как и в более ранней беллетристике. В 1831 г. вышел его роман «Поездка в Германию», а в 1837 — литературное путешествие «28 дней за границей, или действительная поездка в Германию». Греч изображает немцев с большой симпатией, но при этом подчеркивает, что сам он является русским. Конечно, в отличие от Ратча, Греч прекрасно владел русским языком — в 1820-е гг. он издал несколько русских грамматик, однако в беллетристике допускал некоторые стилистические небрежности и любил иногда употребить крепкое выражение. Так, в «Действительной поездке в Германию» автор, передавая свои впечатления о Берлине и Гамбурге, периодически «разбавляет» свое повествование юмористическими или претендующими на юмор пассажами, которые довольно резко контрастируют с остальным текстом [Греч 1837]. Очевидно, Тургенев в речи Ратча пародирует эту стилистику, предельно ее утрируя.

Выбор Греча в качестве прототипа в произведении 1869 г. был достаточно неожиданным. Безусловно, Греч был одной из самых одиозных фигур в русской литературе, но к концу 60-х он уже не вызывал столь бурных толков, как в 30–40-е гг. Теперь Греч напоминал о себе лишь мемуарами, к тому же, в 1867 г. он скончался. Поэтому у Тургенева должны были появиться веские причины, чтобы так «несвоевременно» дис-

кредитировать его в образе Ратча. Очевидно, такой причиной послужил конструируемый панславистами миф о братстве славянских народов, которым надлежит объединиться с целью противостояния немецкой угрозе.

Тургенев рисует иную картину: чех Ратч в своем русофильстве руководствуется исключительно соображениями личной выгоды; свой патриотизм он успешно сочетает с тоже «приобретенной» некогда немецкой идентичностью. Под эту концепцию удачно подпадала биография Греча, которую Тургенев привлекает для того, чтобы окончательно дискредитировать панславистскую утопию.

Полемика Тургенева с идеей славянского единства, сопровождавшейся мощным антинемецким дискурсом, становится еще более очевидной в его последнем романе, опубликованном в самый разгар общественного увлечения панславизмом. В «Нови» Тургенев иронически воспроизводит мифы, которые создавались самими сторонниками этой идеологии. Так, о германофобии радикала Маркелова, малоросса по происхождению¹⁹, упоминается в тексте семь раз, причем в одной и той же формулировке: «он ненавидел всех немцев и адъютантов». Относительно самого Маркелова Тургенев, наряду с упоминанием о его исключительной честности и нравственной стойкости, говорит о тупости, фанатизме и неспособности к размышлениям. Его неприязнь к немцам начинается с неудачи в карьере и истории несчастной любви:

...в чине поручика он подал в отставку, по неприятности с командиром — немцем. С тех пор он возненавидел немцев, особенно русских немцев. <...> Читал Маркелов немного — и больше всё книги, идущие к делу, Герцена в особенности. <...> Несколько лет тому назад он страстно влюбился в одну девушку, но та изменила ему самым бесцеремонным манером и вышла за адъютанта — тоже из немцев. Маркелов возненавидел также и адъютантов [Тургенев: IX. 193–194].

¹⁹ Тургенев считал малороссов отдельным, не входящим в русскую нацию славянским народом [Фомина 2012].

Ненависть Маркелова к немецкому командиру, а затем к немцам-адъютантам прямо намекает на «онемеченную» власть. Когда Маркелова арестовывают, его сопровождает немец-адъютант, таким образом, противник «немецкого» режима оказывается его жертвой. Тургенев высмеивает этот миф, предельно его утрируя и низводя до банально-бытового уровня в истории ксенофобии Маркелова, развившейся вследствие его личных неудач.

Абсурдность панславистского мифа подчеркивается и в образе тайного советника Сипягина, стремящегося «не отстать от века». Он всячески демонстрирует свой демократизм и даже заявляет о симпатии к славянофилам: «Сипягин принялся бранить вообще всех немцев, причем объявил, что он до некоторой степени славянофил, хоть и не фанатик» [Тургенев: IX. 178]. Стараясь быть последовательным в своих «убеждениях», Сипягин реализует их в практической деятельности:

Они пришли на фабрику. Их встретил малоросс, с громаднейшей бородой и фальшивыми зубами, заменивший прежнего управляющего, немца, которого Сипягин окончательно прогнал. Этот малоросс был временной; он явно ничего не смыслил и только беспрестанно говорил: «отó...» да «байдуже» — и всё вздыхал [Там же: 277].

Критика Тургенева в данном случае направлена против панславистских идей, распространившихся в русской аристократической среде в ходе Русско-турецкой войны.

Протест Тургенева против панславизма вытекал не просто из его стойкого неприятия идеи славянского превосходства и связанной с ней германофобии. Речь шла о проекте нового государственного образования — всеславянской державы, который не соответствовал тургеневскому идеалу современного цивилизованного государства европейского образца. В конце 60-х – начале 70-х гг. писатель был убежден, что образцом цивилизации служат немецкие страны. Это воззрение Тургенев развил в своих «Корреспонденциях о франко-прусской войне» (1870).

**Б. Франко-прусская война и образы немцев
в произведениях Тургенева 1870-х – 1880-х гг.**

«Письма о франко-прусской войне» публиковались в «Санкт-Петербургских ведомостях». В ходе франко-прусской войны общественное мнение в России разделилось на два лагеря — профранцузский и пропрусский. Несмотря на то, что Александр II, руководствуясь памятью о поражении в Крымской войне, выказывал симпатии Пруссии, большинство журналов заняло профранцузскую позицию — от либеральных и демократических изданий до ультрапатриотических «Московских ведомостей» [Оболенская 2000: 105–107]. «Санкт-Петербургские ведомости» были одной из немногих либеральных газет, склонявшихся на сторону Пруссии, особенно в начале войны. Позиция этого издания достаточно точно отразилась в «Письмах» Тургенева.

Концепция писателя заключается в следующем: Пруссия взяла на себя благородное дело освобождения Европы от репрессивного режима Наполеона III:

Я с самого начала, вы знаете, был за них <немцев> всей душою, ибо в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе: оно было немислимо, пока это безобразие не получило достойной кары [Тургенев: X. 310].

Пруссию нельзя винить в том, что, воюя с Францией, она присоединяет к себе остальные немецкие государства — это «факт — столь же непреложный и неотвратимый, как всякое физиологическое, геологическое явление» [Там же: 322]. Даже щекотливый вопрос об аннексии Эльзаса и Лотарингии, столь остро обсуждавшийся в России («У нас принято с пеной у рта кричать против этого немецкого захвата»), писатель оправдывает, хотя и не одобряет. После Сентябрьской революции акценты смещаются. Теперь сочувствие Тургенева на стороне Франции, однако, он по-прежнему считает, что поражение было закономерно и в какой-то мере даже необходимо:

...хоть и нельзя желать полной победы немцев, но самая эта беда нам должна служить уроком; она является торжеством

большого знания, большого искусства, сильнейшей цивилизации: наглядно, с несомненной, поразительной ясностью показано нам, что доставляет победу [Тургенев: X. 323].

Цивилизованность немцев и варварство французов становятся сквозным мотивом в первой части «Корреспонденций». Эти качества, по мнению Тургенева, проявляются как в способе вести войну, так и в пропагандистских кампаниях, развернувшихся в немецкой и французской периодике:

Я всё это время, как вы легко можете себе представить, весьма прилежно читал и французские и немецкие газеты — и, положив руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения. Такого фанфаронства, таких клевет, такого крайнего незнания противника, такого невежества, наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог <...> прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря; то же можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов: здесь — трезвая и честная правда; там — какая-то то яростная, то плаксивая фальшь [Там же: 310–316].

Далее Тургенев касается отношения Франции к своему немецкому населению:

...французы опьянели жадной мести, крови, что каждый из них словно голову потерял, — это несомненно. Не говорю уже о сценах в Палате депутатов, на парижских улицах; но сегодня пришла весть, что все немцы изгоняются (за исключением, конечно, австрийцев) из пределов Франции! Подобного варварского нарушения международного права Европа не видала со времени первого Наполеона [Там же: 314].

Причины того, что французы «утратили» цивилизованный облик, Тургенев видит в их «национальном эгоизме», отсутствии интереса к другим народам и незнании самих себя: «настоящий патриотизм не имеет ничего общего с заносчивой, чванливой гордыней, которая ведет только к самообольщению, к невежеству, к ошибкам непоправимым. Французам нужен урок» [Там же: 312].

В отличие от французов, немцы изображаются подлинными представителями цивилизации, причем качества, которые в русском национальном дискурсе традиционно приписывались им как недостатки, здесь превращаются в достоинства: схематичность мышления превращается в «строгую правильность и ясность замысла» / «математическую точность», аккуратность — в «точность исполнения», приводящую к блестящим результатам, умеренность — в «просвещенность» и «гуманизм» и т. д. Тургенев в восторженных тонах описывает свою случайную встречу с генералом Мольтке, сравнивая его одновременно с «отличным шахматным игроком»²⁰ и с профессором:

Я очень рад, что во время проезда моего через Берлин, в самый день объявления Францией войны (15 июля) я имел случай обежать за *table d'hôte*’ом прямо напротив генерала Мольтке. Лицо его врезалось в память. Он сидел молча и не спеша поглядывал кругом. С своим белокурым париком, с гладко выбритой бородой (он усов не носит) он казался профессором; но что за спокойствие, и сила, и ум в каждой черте, какой пронизательный взгляд голубых и светлых глаз! Да, ум и знание, с присоединением твердой воли — цари на сей земле! [Тургенев: X. 313]

Франко-прусская война повлияла на тургеневскую трактовку немецкого характера в целом, а оппозиция «немцы — французы», заданная его корреспонденциями, отразилась затем в рассказе «Стук.. стук.. стук!..» (1871) и повести «Вешние воды» (1872).

Рассказ «Стук.. стук.. стук!..», написанный после поездки Тургенева в Россию, дорабатывался писателем в то время, когда отправлялись в печать его корреспонденции о франко-прусской войне. Проблематика рассказа напрямую не связана с этим событием — это «студия самоубийства, именно русского современного, самолюбивого, тупого, суеверного — и нелепого, фразистого самоубийства» [Там же: VIII. 497]. Глав-

²⁰ Это сравнение подчеркивает высокую оценку Мольтке — Тургенев сам был большим любителем шахмат и превосходно в них играл.

ный герой — ограниченный, но болезненно самолюбивый офицер Теглев, пытаясь преодолеть бесцветность своей жизни, разыгрывает ее по романтическому сценарию. Он подражает героям Марлинского и Лермонтова, искренне веря в собственную исключительность, в потусторонний мир и мистические совпадения.

Рассказ ведется от лица Риделя — «коренного русака» с немецкой фамилией, близко знавшего Теглева в молодости. Несмотря на то, что в обозначении его этничности явно пародируется русофильство русских немцев, далее этот герой изображается нейтрально, более того, его точка зрения совпадает с авторской. Негативные коннотации в этот образ вносит шутка Риделя — его стук, который подталкивает Теглева, принявшего это за мистический знак, к самоубийству. Но впоследствии выясняется, что самоубийство было частью жизненного сценария героя и планировалось им заранее. Таким образом, Ридель реабилитируется — он сталкивается с патологическим героем, действия которого полностью зависят от его болезненной фантазии.

История романа Теглева с покинутой Машей, которая вскоре умирает, перекликается с сюжетом «Несчастной», оба произведения имеют общий претекст — «Пиковую даму». Подобно Германну, тургеневский герой стремится стать похожим на Наполеона. О французском императоре в тексте упоминается несколько раз. Ридель, описывая характер главного героя, говорит о широкой распространенности в 1830-е гг., «особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами», поклонения Наполеону; сослуживцы уважают Теглева не за «характер или ум и образованность, а потому, что признавали на нем ту особенную печать, которою отмечены «фатальные» люди. <...> «Теглев возьмет да вдруг выйдет в Наполеоны» — это не считалось невозможным» [Тургенев: VIII. 230]. Наконец, Риделю, уже после самоубийства героя, попадает нумерологический расчет (ошибочный), в котором сравниваются даты рождения и запланированной смерти Теглева с годами жизни Наполеона. Поступление Теглева в артиллери-

сты рассказчик, в этой связи, трактует как желание построить свою жизнь по образцу биографии французского императора.

По справедливому наблюдению Л. М. Лотман, «непоколебимая вера в свою «фатальную» значительность, непомерные притязания при отсутствии гуманного, подлинно глубокого содержания личности представлялась Тургеневу общественно опасным свойством, получающим особенное распространение в реакционные эпохи» [Лотман 1981: 495]. Упоминания о Наполеоне, очевидно, вводятся в рассказ с целью дискредитации этой черты — в самый разгар франко-прусской войны они не могли быть безотносительными к современной ситуации и непосредственно вытекали из характеристик, данных французам и ненавистному режиму Наполеона III в тургеневских «Корреспонденциях». В этой связи традиционные качества немцев — рационализм Риделя и даже требования «пунктуальности и аккуратности», которые предьявляет Теглеву генерал-немец, неожиданно получают в рассказе положительную оценку. Немец Ридель олицетворяет здоровый рационализм, противопоставленный патологическому характеру Теглева.

Эта оценка изменилась после победы немцев и завершения объединения Германии. Еще в 1870 г. Тургенев признавался П. В. Анненкову, что, хотя его симпатии по-прежнему на стороне Германии, «теперь немцы являются завоевателями, а к завоевателям у меня сердце не особенно лежит» [Тургенев 1960. Письма: VIII. 278]. Дело было не только в симпатии к побежденным — практически вся русская общественность отнеслась к возникновению новой мощной и воинственной державы негативно. Кроме того, Тургеневу претил охвативший немецкое общество национализм, отрицательное отношение к которому он выразил еще в романе «Накануне» (1859), в сцене с пьяными немецкими офицерами в Царицыно²¹. После завершения

²¹ В описание офицеров Тургенев вставляет неприятные натуралистические подробности: «бычачья шея», «краснорожие», «бычачьи воспаленные глаза», сиплый голос и т. д. Подчеркивается их самодовольство («чирый немец») и нахальство — они требуют от

объединения Германии неприязнь Тургенева к этим явлениям вспыхивает с новой силой.

Внутреннее отторжение вызвала и политика Бисмарка, ориентировавшегося, прежде всего, на буржуазию: в целях сохранения обретенной целостности немецкий канцлер сразу же после объединения провел ряд экономических реформ, облегчивших торговлю между немецкими королевствами, вошедшими в Германскую империю. Свое негативное отношение к этим явлениям писатель выразил в «Вешних водах» (1871).

То, что негативная оценка образа Клюбера непосредственно вытекала из отношения Тургенева к происходящим в современной Германии процессам, подтверждал сам писатель в своей переписке («Но как проглотят немецкие читатели г-на Клюбера и прочие неприятности, сказанные их расе?²²» [Тургенев 1960. Письма: IX. 226]), в дальнейшем это неоднократно отмечали исследователи [Тургенев: VIII. 512–513; Лебедев: 500]. Перевод повести на немецкий язык навлек на Тургенева гнев практически всего образованного немецкого общества. В письме к Л. Пичу Тургенев писал:

Какими вы — все немцы — стали неженками, обидчивыми, как старые девы, после ваших великих успехов! Вы не в состоянии перенести, что я в моей последней повести чуточку вас поцарапал? <...> А некий критик в с.-петербургской (немецкой) газете кричит караул и призывает всех офицеров немецкой армии стереть с лица земли клеветника и наглого лгуна — то есть меня! До сих пор я думал, что немцы более спокойны и объективны. Вот я и должен похвалить своих русских. Неужели Вы в самом деле думаете, что я отделал этого жалкого Девриена с его никудышным театром в угоду французам? Моя последняя повесть довольно

Зои Мюллер поцелуй, в результате чего Инсаров бросает одного из них в пруд [Тургенев: VI. 218–222].

²² Примечательны предшествующие строки этого письма. Желая проверить немецкий перевод «Вешних вод», Тургенев обращается с просьбой к Анненкову: «Не знаете ли Вы какого-нибудь русского немчуру или немецкого русопета, который бы мог проверить верность оного перевода?».

плоха, но самое лучшее и правдивое в ней — как раз эти немногочисленные щипки [Тургенев 1960. Письма: IX. 303–304, 431].

Упомянув Девриена, он имеет в виду замечание Полозовой о немецком театре: «Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость»²³ [Тургенев: VIII. 362]. (ср. с формулировкой в «Дыме»: «у последнего немецкого флейтщика больше идей, чем у русского самородка» [Там же: VII. 324]). Таким образом, прежняя оппозиция французского «варварства» — немецкой «цивилизованности» переворачивается: теперь французы оказываются более культурно развитыми, а немецкая «цивилизованность» заменяется мещанством и ограниченностью немецкого офицерства.

Разочарование в Германии позволило Тургеневу относительно легко переехать в 1871 г. в Буживаль, вслед за семейством Виардо. В середине 1870-х гг., в преддверии русско-турецкой войны, когда патриотические и панславистские настроения в России переживают свой расцвет, усиливается антинемецкая риторика, подогреваемая представлениями о неизбежности войны между Германией и Россией [Оболенская 1977; 2000; Majkova]. Сам Тургенев в это время заражается всеобщим патриотизмом и сочувствием к южным славянам. Летом 1876 г., после кровавого подавления болгарского восстания турками, при молчаливом невмешательстве Англии, Тургенев пишет стихотворение «Крокет в Виндзоре», в котором критикуются действия английского правительства. Несколько дней

²³ Ср. также его более поздний отзыв о новелле Т. Шторма “Aquis Submersus” в письме к Л. Пичу от 16 (28) декабря 1876 г.: «Нет; немцы могут завоевать весь мир; но рассказывать они разучились... да, по правде сказать, как следует никогда и не умели. Если немецкий автор рассказывает мне что-нибудь трогательное — то он не может удержаться, чтобы не указать одним перстом на свои заплаканные глаза — а другим не подать мне, читателю, скромного знака, чтобы я тоже не оставил без внимания тот предмет, который растрогал его!» [Тургенев 1960. Письма: XIII. Кн. 1. 17, 420].

спустя он признается в письме Ю. П. Вревской: «Сербская катастрофа меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда» [Тургенев 1960. Письма: X. 300–301].

При этом он подчеркивает, что его славянские симпатии никак не связаны с распространившимся в России панславизмом. В письме Е. А. Черкасской от 9 (21) ноября 1876 г. он пишет:

Я, Вы знаете, не славянофил и никогда им не буду; сочувствовать глубоко движению, охватившему всю Россию, уже потому не в состоянии, что оно исключительно религиозное; но силу и стихийную громадность его признаю — и сам желаю войны, как единственного исхода из этого взволнованного мрака; да — видя на месте ненависть к нам всей Европы — нельзя наконец не углубиться в самого себя — и не признать за Россией права поступить как ей хочется. Преклоняюсь перед самоотвержением И. С. Аксакова — но не вижу причины самому воспламеняться. Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне — и коли этому нельзя помочь иначе как войною — ну, так война! Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не нашей крови — моё негодование против турок не было бы несколько меньше. Оставить это так, не обеспечить будущность этих несчастных людей было бы позорно — и, повторяю, едва ли возможно без войны [Там же: 34].

Но с началом войны его отношение к Балканским событиям меняется. Он опасается, что война может использоваться правительством как способ уйти от решения внутривнутриполитических проблем. Ожидаемые либералами (в том числе, Тургеневым) реформы и принятие конституции, в результате, могут отодвинуться на неопределенный срок. Эти опасения он высказывает в письме Полонскому от 30 дек. (11 янв.) 1877 г.:

...ты пишешь — в возражение мне — *разве Германия была слаба умственным развитием, когда душила войной французов?* Душа моя — вся штука в том, как мы смотрим на войну — и чего от нее ожидаем? Вся Германия расхоталась бы от Везера до Дуная — если бы ей сказали, что она ведет войну для собственного нравственного очищения: она воевала с французами, чтобы округлиться, да объединиться, да отнять у них Эльзас и Лотарингию.

А мы хотим войною вылечиться от нашего внутреннего худосочья! Вот где чепуха! Вот где вялость и недомыслие [Тургенев 1960. Письма: XII. 51].

Генерала Черняева, под начало которого он еще в 1876 г. был готов поступить («будь мне только 35 лет»), он теперь уподобляет Хлестакову: «Многое в его дрянном шарлатанстве объясняется французской кровью, которая течет в его жилах (его мать была француженка) — а к этому он прибавил истинно славянскую пошлость и тупость» [Там же: 79].

Причины подобной переоценки поясняются позднее, после завершения войны, в письмах П. В. Анненкову:

Теперь, при наступлении мирных времен, в нашей прессе опять раздаются лиры благоразумного прогресса! Но перемены, конечно, никакой не будет <...>. Будет стоять крепенький морозец — и старая Россия будет по-прежнему кататься по установленному санному пути. А настанет оттепель — она поедет в телеге — и только толчков будет поболее. Другого зрелища наши глаза (Ваши и мои) не увидят — в этом мы можем быть уверены [Там же: X. 391].

Опасаясь, что победа над Турцией может обернуться для России войной с Англией, Тургенев еще более недвусмысленно высказывается об этом в письме к Г. Джеймсу:

Эта война будет — она давно уже предрешена — восточный восток не может иначе разрешиться; и война эта будет долгой и тяжелой; я надеюсь, что она закончится изгнанием турок и освобождением славянских народностей, греков и других; но моя страна будет надолго разорена — и мои глаза не увидят даже тех внутренних реформ, которые нам обещаны. Вы легко поймете, что с подобными убеждениями я вижу будущее в черном цвете... [Там же: XII. 298, 476].

Ажиотаж в русской среде и панславистские амбиции расцениваются как ненужное и искусственное оживление, глубоко чуждое истинным потребностям русского общества — именно об этом речь идет в финале стихотворения в прозе «Деревня»: «О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать! И думается мне: к чему нам тут и крест на

куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?» [Тургенев: X. 126]. Еще более резко он отзывается об этом в письме Ю. Вревской по поводу «Анны Карениной» от 10 (22) марта 1876:

...я еще не читал продолжения «Анны Карениной»; но вижу с сожалением, куда весь этот роман поворачивает. Как ни велик талант Толстого, а не выдраться ему из московского болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла — хаос, одним словом! И в этом хаосе должен погибать такой одаренный человек! Так на Руси всегда бывает [Тургенев 1960. Письма: XI. 230].

Тем не менее, Тургенева, «как и всех русских», радуют победы русских войск — взятие Карса, занятие Адрианополя и т. д. и возмущают невыгодные для России и южнославянских стран условия Берлинского мирного договора 13 июня 1878 г.: «Вы знаете, какой я слабый “chauvin” и славянофил, — пишет он П. В. Анненкову, — но я сам начинаю желать, чтобы мы пошли к Константинополю — что ли!» [Там же: XII. 268].

Несправедливые, с точки зрения подавляющего большинства русских общественных деятелей, условия Германии, а также распространившаяся во время войны в европейской — прежде всего, английской и немецкой печати, русофобия лишь усилили антинемецкие настроения в России. В дальнейшем они еще более укрепились благодаря внешне- (обострение отношений с Германией и поиск новых союзников) и внутреннеполитическому (русификация Балтийского края) курсу Александра III. Очевидно, все это повлияло и на позицию Тургенева, который в анонимной статье “Alexandre III”, оправдывая нового императора перед европейской публикой, замечал: «Утверждают, что он ненавидит немцев. Но при этом смешивают немцев из Германии с русскими немцами: этих последних он действительно совсем не любит» [Тургенев: X. 287].

Казалось бы, сказанное выше не имеет отношения к последней повести Тургенева «Клара Милич (После смерти)» (1883), в которой внимание исследователей традиционно

привлекала фантастическая составляющая [Пумпянский; Бялый; Муратов; Топоров]. Л. В. Пумпянский, трактовка которого легла впоследствии в основу версий Г. А. Бялого и А. Б. Муратова, считал, что Тургеневу было свойственно преклонение перед неким иллюзорным авторитетом, еще в «Фаусте» обозначенном как «Неведомое». По мнению Пумпянского, тургеневское «Неведомое» — это парабиологическая реальность, существование которой писатель обосновывал, в том числе, с помощью (псевдо)науки (представления о «животном магнетизме», развитие естествознания) [Пумпянский: 448–463]. Однако заметим, что в «Кларе Милич» «неведомой» для Аратова является скорее та реальность, в которой он живет — и герой, и читатель остаются в неведении относительно занятий и личности загадочной грузинской княгини, у которой живет Клара, ничего определенного нельзя сказать о приятеле Аратова Купфере, даже главная героиня, которую мы видим только в момент ее выступления, остается загадкой. После смерти Клары для Аратова, напротив, все проясняется: склонный к мистицизму он окончательно признает существование сверхъестественных явлений, он осознает, что влюблен, и стремится воссоединиться с возлюбленной.

Один из ранних и, возможно, наиболее проницательных интерпретаторов повести, И. Ф. Анненский, предложил психологическую трактовку. Он писал, что в Аратове

...расположился старый больной Тургенев, который инстинктивно боится наплыва жизни; боится, чтобы она своим солнцем и гамом не потребовала от него движений; больной, который решил ни на что более не надеяться и ничего не любить — лишь бы можно было работать. Последние силы Аратова-Тургенева уходят на разрушение иллюзий, чтобы существование стало более серым, менее заметным, а, главное, проходило медленнее. Обстоятельства, сопровождавшие смерть Клары, сначала произвели на Аратова потрясающее впечатление... но потом эта игра «с ядом внутри», как выразился Купфер, показалась ему какой-то уродливой фразой, бравадой, и он уже старался не думать об этом, боясь возбудить в себе чувство, похожее на отвращение. Но это отвращение и боязнь почувствовать отвращение едва ли принадлежат Аратову: по-моему, это — горький вкус болезни во рту

у Тургенева, это его утомленный ум, который не хочет более тешить себя романтизмом, потому что сквозь его театральную мантию не может не видеть тела, обреченного разлагающей его животной муке [Анненский: 67].

По мнению рецензента, Аратов, если и был когда-нибудь молод, то, как минимум, 40 лет назад. Его окружают анахронизмы — кипсек с изображением Гюльнар и Медор, поэзия Красова, приятель Купфер — «студент 40-х гг., которого забыли похоронить» [Там же: 66].

Нам трудно согласиться с аргументацией Анненского, но само предположение, что Аратов-Тургенев инстинктивно боится «наплыва жизни» и стремится от нее уйти заслуживает внимания. С нашей точки зрения, дело было не только в болезни писателя, но и в тех общественных условиях, которые сложились в России после русско-турецкой войны.

К этому событию отсылает уже время действия повести — оно разворачивается в 1878 г. Характерным знаком времени становится упоминание о том, что на вечере, когда выступает Клара, присутствует шпион — «седоволосый фат с лицом котки из Ревеля, известный по Москве сотрудник и соглядатай», а далее в тексте говорится об арестах студентов, которые в 1870-е гг. проводились повсеместно. По всей видимости, и общество, в которое попадает Аратов, носит на себе отпечаток этой эпохи.

К атмосфере конца 70-х гг. отсылает уже южнославянский псевдоним, выбранный главной героиней, которая, заметим, родилась в русской семье, родом из Казани, но при этом Аратов находит в ее внешности еврейские и цыганские черты, а ее отец сомневается в своем отцовстве. Ее внезапная и немотивированная влюбленность в Аратова, — и вообще влюбленность ли? (тексте нет доказательств тому, что это не изобретение болезненного воображения Аратова) — остается под большим вопросом. Несомненно одно: «натура страстная, своевольная — и едва ли добрая, едва ли очень умная, но даровитая — сказывалась во всем» [Тургенев: X. 75].

История ее знакомства с грузинской княгиней, как и вообще род занятий этой дамы, происходящее в ее доме, а также ее

прошлое тоже остаются для читателя загадкой. Говорится лишь, что она вдова, хотя «мужа ее никто не знал», что «ни в одном городе она подолгу не жила» и состояния у нее не было, несмотря на что «она жила открыто — в долг или *иначе* <курсив наш. — *Е. Ф.*>», вообще же она характеризуется как «личность неопределенная, почти подозрительная» [Тургенев: X. 70].

Станным кажется выбор ее национальной принадлежности — образ грузинской княжны был распространен в 1820-е – 30-е гг., прежде всего, у Пушкина и Лермонтова, но образ тургеневской почти сорокалетней княгини, которая «белилась, румянилась и красила волосы», не имеет с этой традицией ничего общего. По всей вероятности, писатель намекает здесь на события, произошедшие в результате русско-турецкой войны: по ее итогам России отошла Карсская область вместе с населявшими ее грузинами и армянами, присоединение которой как раз в то время, когда разворачивается действие повести, Тургенев приветствовал в своих письмах. Но очевидно, что ко времени написания «Клары Милич» энтузиазм по поводу победы сменился впечатлением, что приток нового населения лишь усиливает хаотичность предельно накалившейся после убийства Александра II обстановки в России. Еврейка или цыганка Клара, нарумяненная грузинская княгиня, вся разношерстная публика гостиной княгини, включая «соглядатая с лицом ревельской кокотки» и семинариста-малоросса на организованном княгиней концерте, создают у Аратова впечатление «чего-то недоброкачественного, поддельного, временного...» [Там же].

Неожиданно, что немец, еще десятилетием ранее изображавшийся Тургеневым как символ порядка и цивилизации, здесь вписывается в это многонациональное общество, и, таким образом, его национальность причисляется к списку «сомнительных». Характеристика Купфера как «немца до того обрусевшего, что он ни одного слова по-немецки не знал и даже ругался “немцем”» лишь удваивает акцент на его идентичности. Несмотря на его привязанность к «идеалисту» Аратову, он не имеет ничего общего с восторженным студентом

40-х гг., как его охарактеризовал Анненский, — в тексте он назван сангвиником, т. е. человеком эмоционально открытым, но непостоянным и легко относящимся к собственным неудачам (и к несчастьям других). По всей видимости, с целью заработать, «он поступил на службу, мало <...> обязательную: он, говоря его словами, «примостился» к постройке Храма Спасителя, ничего, конечно, в архитектуре не смысля» [Тургенев: X. 69]. Очевидно, этими же целями он руководствуется, сближаясь с княгиней (что, однако, не мешает ему искренне ею восхищаться) — он сопровождает ее в ее загадочных переездах, ходят слухи об их любовной связи.

Изображение немца как участника «подозрительного», возможно, криминального сообщества вытекает, с нашей точки зрения, из представлений об угрожающей России «немецкой интриге», подспудно влиявших на Тургенева. Но важнее оказывается список «сомнительных» народов в целом, на фоне репрессивной политики правительства — ареста студентов, соглядатайства и пр., усиливающих у Тургенева впечатление хаотичности русской жизни, которую он в таком виде не способен принять. Именно эта действительность разрушает хрупкую психику Якова Аратова и заставляет его стремиться к иной — парабиологической реальности.

Выводы

При всем «европеизме» Тургенева — его биографической и духовной привязанности к европейскому контексту, итог эволюции немецких образов в его творчестве свидетельствует о солидарности писателя с русской националистической мифологией. Изображая героев с «сомнительной» национальной принадлежностью в «Истории лейтенанта Ергунова», а затем в «Кларе Милич», Тургенев, фактически, воспроизводит мысли, распространенные в русской патриотической печати, но приходит к этому как бы «с другой стороны», руководствуясь собственными идеями. Оценка «сомнительных» народов в последней повести писателя отличается от позиции его непри-

миримого оппонента Достоевского, пожалуй, лишь присущей ему сдержанностью тона, однако путь, который привел Тургенева к подобным выводам, был принципиально иным.

Как мы попытались показать, изображение персонажей-немцев у Тургенева было тесно связано с трансформациями русского мифа о немцах на протяжении 1840–1870-х гг. Однако процесс коллективного национального мифотворчества увлек его не сразу. Ирония по отношению к немцам в 1840-е гг. была вызвана, скорее, биографическими причинами: необходимостью адаптации к новым социальным и культурным условиям после возвращения из Берлина и представлением о бесполезности, «неприменимости» полученных знаний в этом новом контексте. Отсюда — мысль о восприимчивости русского характера к «чужим», не совместимым с ним идеям, отчасти пересекающаяся с тем, о чем говорили славянофилы. Тем не менее, отклики на антинемецкие идеи славянофилов в это время ситуативны («Холостяк», «Гамлет Щигровского уезда», отчасти — публицистика) и явно менее актуальны для самого писателя по сравнению с его убеждением, сформированным, в первую очередь, на основе личного опыта, в пагубности для русских безоглядного следования немецким философским доктринам. В этой связи тип немца, к которому наиболее часто обращается Тургенев в 1840-е гг., — это немец-наставник, не способный ничему научить, он изображается иронически с целью дискредитации жизнестроительства под руководством немецких философских систем.

Эта ситуация меняется в 1850-е гг., когда в ходе Крымской войны, повлекшей за собой рост патриотизма и усиление антинемецких настроений в России, тургеневская ирония по отношению к немцам уже не касается области высокой немецкой культуры. Ее оценка трансформируется в соответствии с меняющимся литературным контекстом в 1850-е гг. — появлением нового поколения литераторов, полемично настроенных по отношению к своим предшественникам. Теперь культурное германофильство трактуется как отличительный признак тургеневского поколения, творчество Шиллера и Гете преподносится в текстах этого времени как образец подлинно-

го искусства, которое формирует мировоззрение русских «романтиков» 1840-х гг. Противоречие между культурным германофильством и иронией к русским немцам реализуется затем в образе Лемма в «Дворянском гнезде», в котором, в полемике с Толстым и радикальной критикой, утверждается органическая близость немецкой культуры и русского характера. При этом подразумевается, что именно всесторонне развитый «русский европеец» — это тип деятеля в пореформенной России.

В эпоху Великих реформ, ставшую для русского национализма переломной, Тургенев переживает новый виток германофильства, на этот раз, уже в полном смысле этого слова. Ключевым в творчестве этого периода становится противопоставление европейской «цивилизации» русскому «хаосу», который ассоциируется у него, в том числе, с ростом патриотизма и распространением в русской печати панславистских идей после польского восстания. Полемическим откликом на них становятся его отзывы о немцах и русских в «Дыме», а также образ Ратча в «Несчастной». Но по мере усиления Германии оценка немцев становится все более негативной, и на завершающем этапе творчества, главным образом, в контексте событий русско-турецкой войны, тургеневские немцы в полной мере становятся воплощением антинемецких мифов, порожденных русским патриотическим дискурсом.

Эволюционный и контекстуальный подходы к проблеме изображения немцев у Тургенева, с нашей точки зрения, позволяет доказать, что эта группа персонажей не была статичной — они трансформировались в соответствии с развитием русского национального дискурса, изменениями мировоззрения писателя и даже его географическими перемещениями²⁴.

²⁴ С нашей точки зрения, для более полного понимания негативной трактовки Купфера в «Кларе Милич» необходим также анализ французского антинемецкого нарратива в конце 1870 – начале 80-х гг., поскольку актуальной для Тургенева, жившего во Франции, в эти годы становится французская точка зрения, как и французский характер вообще. У писателя даже созревает замысел

Несмотря на это, все немецкие герои Тургенева производят впечатление общности, хотя и сложно уловимой. Полагаем, что причины такого единства заключаются в особенностях его поэтики: набор излюбленных образов и сюжетов писателя ограничен, но в каждом отдельном случае выстроенная на их основе конфигурация наполняется новым смыслом.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев: *Алексеев М. П.* Реальные и бытовые источники «Дворянского гнезда» // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1981. Т. VI. С. 370–427.
- Алексеевские чтения: Алексеевские чтения // Рус. лит. 1982. № 4. С. 246–247.
- Андерсон: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
- Анненский: *Анненский И. Ф.* Умиравший Тургенев // Анненский И. Ф. Книги отражений. СПб., 1906. С. 59–73.
- Бакунин 1920: *Бакунин М. А.* Избранные сочинения. П.; М., 1920. Т. 3.
- Бакунин 1921: *Бакунин М. А.* Исповедь и письмо Александру П. М., 1921.
- Бакунин 1987: *Бакунин М. А.* Реакция в Германии (очерк француза) // Бакунин М. А. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. С. 207–226.
- Батюто 1972: *Батюто А. И.* Тургенев-романист. Л., 1972.
- Батюто 1990: *Батюто А. И.* Творчество И. С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени. Л., 1990.
- Белинский 1976: *Белинский В. Г.* Аббадонна. Сочинение Николая Полевого... Мечты и жизнь. Были и повести, сочиненные Николаем Полевым // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 370–375.
- Белинский 1978: *Белинский В. Г.* Аббадонна. Сочинение Николая Полевого. Издание второе // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1978. Т. 3. С. 490–494.

нового романа о двух типах революционеров — русском и французском.

- Белинский 1979: Сочинения Гете. Выпуск 2 // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1978. Т. 5. С. 281–283.
- Белинский 1988: *Белинский В. Г.* Литературные мечтания // Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу. М., 1988. С. 27–113.
- Вольперт, Томашевский: *Вольперт Л. И., Томашевский Б. В.* Сталь (Staël) Анна Луиза Жермена де (1766–1817) // Пушкинская энциклопедия. 2006–2011.
<http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=419>
- Бялый: *Бялый Г. А.* Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962.
- Герцен 1958: *Герцен А. И.* Русские немцы и немецкие русские // Герцен А. И. Соч.: В 9 т. М., 1958. Т. 7. С. 263–308.
- Герцен 1969: *Герцен А. И.* Былое и думы. М., 1969.
- Гинзбург: *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. Л., 1971.
- Гоголь: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л., 1937–1952.
- Греч 1831: *Греч Н. И.* Поездка в Германию. Роман в письмах. СПб., 1831.
- Греч 1837: *Греч Н. И.* 28 дней за границей, или Действительная поездка в Германию. СПб., 1837.
- Греч 2002: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М., 2002.
- Григорьев: *Григорьев А. А.* И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо» // Григорьев А. А. Литературная критика. М., 1967. С. 240–366.
- Данилевский 1977: *Данилевский Р. Ю.* Стихотворная цитата в повести «Яков Пасынков» // Тургенев и его современники. М., 1977. С. 47–49.
- Данилевский 1991: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М., 1991.
- Долбилов: *Долбилов М.* Полонофобия и политика русификации в северо-западном крае империи в 1860-е гг. // Образ врага. М., 2005. С. 127–174.
- Достоевский: *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 15 т. СПб., 1996.
- Жуковская, Мазур, Песков: *Жуковская А. В., Мазур Н. Н., Песков А. М.* Немецкие типы русской беллетристики (конец 1820-х – начало 1840-х гг.) // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 37–54.
- Зельдхейн-Деак: *Зельдхейн-Деак Ж.* Западная Европа и русские — глазами Тургенева // *Studia Slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae.* Budapest. 1995. Т. 40. С. 69–82.
- Зорин: *Зорин А. Г.* Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
- Кантор: *Кантор В.* Россия сквозь «магический кристалл» Германии // Вопр. лит. 1996. № 1. С. 120–158.

- Киселева 1982: *Киселева Л. Н.* Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812) / Диссертация на степень кандидата филологических наук. Тарту, 1982.
- Киселева, Фомина: *Киселева Л., Фомина Е.* Роль И. С. Тургенева в формировании пушкинского литературного канона (на материале прозы 1840-х гг.) // Пушкинские чтения в Тарту. Вып. 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон. Тарту, 2011. Ч. 1. С. 224–249.
- Кроо: *Кроо К.* Интертекстуальная поэтика романа И. С. Тургенева «Рудин». СПб., 2008.
- Курляндская: *Курляндская Г. Б.* Структура повести и романа И. С. Тургенева 1850-х годов. Тула, 1977.
- Кюстин: *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: В 2 т. / Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной, коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. М., 1996.
- Лебедев: *Лебедев Ю. В.* Тургенев. М., 1990.
- Леонтьев: *Леонтьев К. Н.* Благодарность // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 19–71.
- Лермонтов: *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979–1981.
- Летопись: Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1818–1858). СПб., 1995.
- Лотман 1977: *Лотман Л. М.* Тургенев и Фет // Тургенев и его современники. Л., 1977. С. 25 — 47.
- Лотман 1981: *Лотман Л. М.* История лейтенанта Ергунова // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1981. Т. VIII. С. 425–431.
- Майорова: *Майорова О.* Образ нации и империи в верноподданных письмах к царю (1863–1864) // И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию А. Л. Осповата. М., 2008. С. 357–368.
- Маркович 1975: *Маркович В. М.* Человек в романах И. С. Тургенева. Л., 1975.
- Маркович 1982: *Маркович В. М.* И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. Л., 1982.
- Маркович 1996: *Маркович В. М.* «Русский европеец» в прозе Тургенева 1850-х годов // Памяти Григория Абрамовича Бялого: К 90-летию со дня рождения. Научные статьи. Воспоминания. СПб., 1996. С. 24–42.
- Мельгунов: *Мельгунов Н. А.* Бурши и филистеры // Отеч. Записки. 1847. № 8. С. 148–153.

- Миллер 2007: *Миллер А.* Триада графа Уварова / стенограмма публичной лекции. М., 2007. <http://polit.ru/article/2007/04/11/uvarov/>
- Миллер 2012: *Миллер А.* История понятия «нация» в России // Отечественные записки / Журнал для медленного чтения. М., 2012. № 1 (46). <http://magazines.russ.ru/oz/2012/1/m22.html>
- Мильчина, Осповат 1994: *Мильчина В. А., Осповат А. Л.* Маркиз де Кюстин и его русские читатели (Из неизданных материалов 1830–1840-х годов) // НЛО. М., 1994. № 8. С. 107–138.
- Муратов 1980: *Муратов А. Б.* Повести и рассказы И. С. Тургенева 1867–1871 г. Л., 1980.
- Муратов 1985: *Муратов А. Б.* Тургенев-новеллист (1870–80-ые гг.). Л., 1985.
- Неверов: *Неверов Я.* Германская литература // Отеч. зап. 1840. Т. 8. С. 21–29.
- Некрасов: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. М., 1948–1953. Т. 10.
- Новикова: *Новикова Е. Г.* Рассказ И. С. Тургенева «История лейтенанта Ергунова» (Тип личности и специфика жанра) // Проблемы метода и жанра. Томск, 1983. Вып. 9.
- Оболенская 1977: *Оболенская С. В.* Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. М., 1977.
- Оболенская 2000: *Оболенская С. В.* Германия и немцы глазами русских. М., 2000.
- Одоевский: *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. М., 1975.
- Осповат: *Осповат А.* Элементы политической мифологии Тютчева (Комментарий к статье 1844 г.) // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 227–263.
- Островский: *Островский А. Г.* Тургенев в записях современников. М., 1999.
- Панаев: *Панаев И. И.* Письмо Тургеневу 10(22) февраля 1847 г. // Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы 1847–1861. М.; Л., 1930.
- Пильд 1995: *Пильд Л.* Рассказ И. С. Тургенева «Фауст»: (семантика эпиграфа) // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia IV: «Свое» и «чужое» в литературе и культуре.* Тарту, 1995. С. 167–177.
- Пильд 1999: *Пильд Л.* Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы) / Диссертация на степень доктора филологии. Тарту, 1999.
- Полевой 1840: *Полевой Н. А.* Аббадонна / Издание второе. СПб., 1840.

- Полевой 1986: *Полевой Н. А.* Избранные произведения и письма. Л., 1986.
- Полевой 1989: *Полевой Н. А.* Блаженство безумия // Русская романтическая новелла. М., 1989. С. 167–213.
- Пумпянский: *Пумпянский Л. В.* Статьи о Тургеневе // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 381–505.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977–1979.
- Самарин 1889: *Самарин Ю. Ф.* Письма из Риги и История Риги // Сочинения Ю. Ф. Самарина. М., 1889. Т. VII.
- Славгородская: *Славгородская Л. В.* От «геттингенской души» до Андрея Штольца: к эволюции представлений о Германии и немцах в русской литературе XIX в. // Немцы в России. СПб., 1998. С. 129–135.
- Соллогуб 1978: *Соллогуб В. А.* Три повести. М., 1978.
- Соллогуб 1988: *Соллогуб В. А.* Повести и рассказы. М., 1988.
- Станкевич: *Станкевич Н. В.* Избранное. М., 1982.
- Тиме 1992: *Тиме Г. А.* Заклятье геттанства (Диалектика субъективного и объективного в творческом сознании И. С. Тургенева) // Русская литература. 1992. № 1. С. 30–42.
- Тиме 1994: *Тиме Г. А.* Обломов и Лаврецкий: «русская идея» или немецкая философия? // Ivan A. Gončarov. Leben, Werk und Wirkung. Köln; Weimar; Wien, 1994. S. 389–398.
- Тиме 1997: *Тиме Г. А.* Немецкая литературно-философская мысль XVIII–XIX веков в контексте творчества И. С. Тургенева (генетические и типологические аспекты). Мюнхен, 1997.
- Толстой: *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. М., 1978–1985.
- Тургенев: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1978–1986.
- Тургенев 1960: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960.
- Тургенев и его современники: Тургенев и его современники. Л., 1977.
- Тютчев: *Тютчев Ф. И.* Письмо доктору Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты» <Россия и Германия> // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 202–226.
- Фомина 2010a: *Фомина Е.* Мотив национальности в «Дворянском гнезде» (Образ Лемма и его функции в романе) // Русская филология. 21: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2010. С. 30–35.
- Фомина 2010b: *Фомина Е.* Проблема интеркультурной коммуникации в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» // Littera

- Scripta. Вып. 7: Сб. науч. работ молодых филологов. Рига, 2010. С. 201–207.
- Фомина 2011a: *Фомина Е.* Принципы изображения национальности в «Истории лейтенанта Ергунова» И. Тургенева // *Русская филология*. 22: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2011. С. 48–55.
- Фомина 2011b: *Фомина Е.* Этническая характеристика как проблема поэтики (немецкие персонажи в творчестве И. С. Тургенева) // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XII: Мифология культурного пространства: К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова*. Тарту, 2011. С. 278–300.
- Фомина 2012: *Фомина Е.* Малороссы в изображении И. С. Тургенева // *Русская филология*. 23: Сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2011. С. 31–40.
- Чичерин 1974: *Чичерин Б. Н.* Об аристократии, в особенности русской // *Голоса из России*. М., 1974. Вып. 1. С. 1–113.
- Чичерин 1975: *Чичерин Б. Н.* Современные задачи русской жизни // *Голоса из России*. М., 1975. Вып. 2. С. 51–129.
- Чернышевский 1984: *Чернышевский Н. Г.* Очерки гоголевского периода русской литературы. М., 1984.
- Чернышевский 1986: *Чернышевский Н. Г.* «Русская беседа» и славянофильство // *Чернышевский Н. Г. Письма без адреса*. М., 1986. С. 55–66.
- Чугунов: *Чугунов Д.* Образ немца в русской литературе // *Русское и немецкое коммуникативное поведение*. Воронеж, 2002. С. 60–70.
- Шаталов 1969: *Шаталов С. Е.* Проблемы поэтики Тургенева. М., 1969.
- Шаталов 1979: *Шаталов С. Е.* Художественный мир И. С. Тургенева. М., 1979.
- Brang: *Brang Peter.* Images und Mirages in Turgenевs Darstellung der Nationalcharaktere. Klischeezertrümmerung oder Trendverstärkung? // *Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik*, Band 27. München, 1995. S. 1–25.
- Keil: *Keil R.-D.* Gogol's Deutsche. Folklore — Erfahrung — Fiktion // *Deutsche und Deutschland aus russische Sicht*. Reihe B. Bd. 3. 19. Jahrhundert. Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II. München, 1998. S. 411–444.
- Maiorova 2010: *From the Shadow of empire: defining the russian nation through cultural Mythology, 1855–1870*. Madison, 2010.

- Majorova 2006: *Majorova O.* Die Schlüsselrolle der “Deutschen Frage” in den russischen patriotischen Presse der 1860er Jahre // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Reihe B; 4. 19./20. Jahrhundert: von den Reformen Alexanders II. bis zum Ersten Weltkrieg. München, 2006. S. 81–101.
- Rogov: *Rogov K.* Russische Patrioten deutscher Abstammung // Deutsche und Deutschland aus russische Sicht. Reihe B. Bd. 3. 19. Jahrhundert. Von der Jahrhundertwende bis zu den Reformen Alexanders II. München, 1998. S. 551–604.
- Stael-Holstein: *Stael-Holstein G.* Germany. London, 1813. V. 1–3.
- Thiergen 1982: *Thiergen P.* “Rudin” als Pilgrim. Zu einem unbeachteten Schiller-Motiv Turgenyevs // Festschrift für Wilhelm Lettenbauer zum 75. Geburtstag. Freiburg, 1982. S. 247–262.
- Thiergen 1983: *Thiergen P.* Turgenyevs “Dym”: Titel und Thema // Studien zur Literatur und Kultur in Osteuropa. Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slawistenkongreß in Kiew. Bausteine zur Geschichte der Literaturen bei den Slawen 18. Köln, 1983. S. 277–311.
- Wiegand: *Wiegand K.* Turgenyevs Einstellung zum Deutschtum // Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Universität Berlin. Berlin, 1939. № 24.